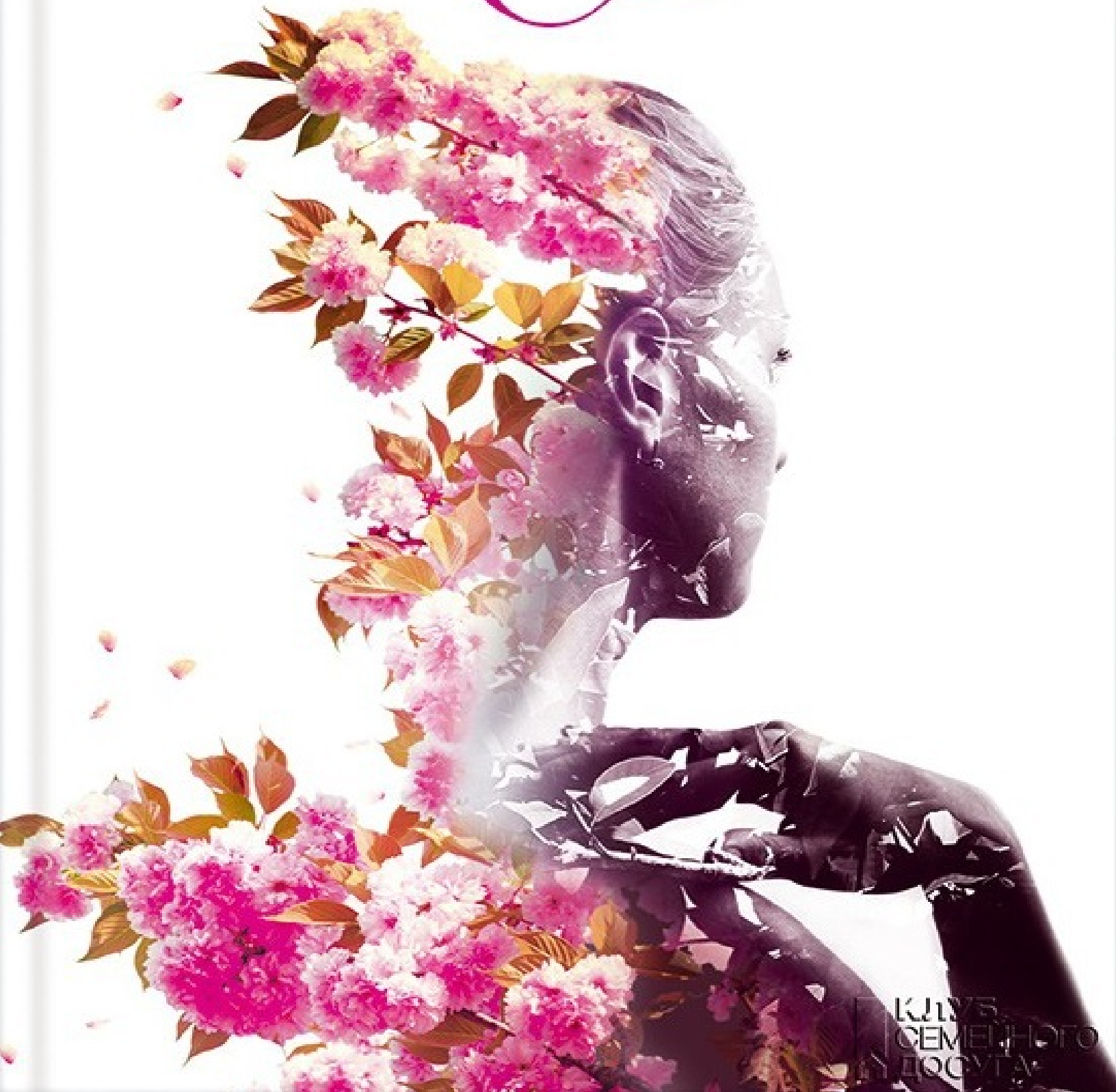
Алла Мелентьева

Семья Дин



Клуб семейного досуга

Annotation

Маленькая щепка в водовороте Второй мировой войны, американка с русскими корнями Ирэн Коул совсем молодой, почти подростком, осталась одна: разлученная с семьей во время эвакуации из Шанхая, она мужественно перенесет все выпавшие на ее долю испытания, живя одной мечтой — вновь увидеть когда-нибудь мать и сестер. Призрачной мечтой, ведь их корабль был потоплен японцами… А когда ее саму японский офицер спасает из тифозного барака и отправляет к себе на родину, Ирэн — Рин — становится лучшей подругой его законной жены, женщины, которую должна была бы ненавидеть. Запутанный лабиринт отношений в стране с непривычными обычаями… Но когда девушка узнает, что родные выжили, ей придется принять самое сложное в жизни решение — кто же ее настоящая семья.

Алла Мелентьева
Семья Рин

Глава 1

В воскресенье, двадцать четвертого апреля 1931 года, примерно в начале десятого утра я стояла у открытого окна в ночной рубашке и смотрела вниз на улицу, с любопытством вглядываясь в редких прохожих. Я часто так делала в те времена: ждала, когда кто-то появится из-за угла, и придумывала для этого человека историю жизни, пририсовывала ему своей фантазией семью, родственников и друзей. Это было мое любимое утреннее развлечение. Очень типичное развлечение для девочки восьми лет.

Наша квартира находилась в комплексе новых домов во Французской концессии. На улице тихо. В квартире за пределами комнаты, наоборот, шумно, привычно шумно.

В те времена мое имя было Ирина Коул. Я родилась в Шанхае в 1924 году. Моя мать, Елизавета Коул, урожденная Соколова, — иммигрантка из России. Мой отец, Джордж Коул, — американец, служащий американской торговой компании. У меня была сводная сестра по матери, Анна, и родные сестра и брат, Лидия и Александр, двойняшки. Я — самая младшая в семье, тихий ребенок-интроверт.

Я слышу краем уха, как мать громко говорит отцу: «Сегодня двадцать четвертое апреля, а не двадцать третье! Вечно ты путаешь, Джордж!», и Лидия повторяет за ней, копируя ее манеру: «Сегодня же двадцать четвертое, папа!» «Сегодня двадцать четвертое апреля!» — бормочу я, пародируя их обеих, — мне не нравится, когда они разговаривают с отцом таким тоном. Именно так я и запомнила, что этот день был двадцать четвертым апреля.

Когда мне надоело вытягивать шею, чтобы разглядеть, что происходит за массивным подоконником, я побрела в столовую, где уже собралась вся семья.

Я немного медлю в полутьме большого коридора перед открытой дверью в столовую — мне нравится наблюдать за всеми как бы со стороны, отстраненно, пока никто еще не догадывается о моем присутствии. Я чувствую себя, как зритель в театре.

Я вижу семью Коул — всех, кроме меня, — за завтраком. Мой отец, моложавый, слегка желчный на вид, закрылся газетой и погружен в чтение. Я знаю, что он не упускает ни одного момента дистанцироваться от домашних. Я знаю это, потому что похожу на него. В меньшей степени эта склонность выражена у Александра, моего десятилетнего брата, а вот мать, Анна и Лидия совсем из другого теста. Они шумные, бесцеремонные, вечно во все суют нос и жить не могут без болтовни, скандалов и сплетен.

Анна и Лидия вырывают другу друга сахарницу и сталкивают со стола чашку. Моя мать, благообразная пышущая здоровьем матрона, тип «наседки», с виду немного старше мужа, старается их утихомирить.

— Немедленно прекратите! — кричит она по-русски. — Боже, и это девицы из приличной семьи! Лидка! Лидия, что я сказала! А ну прекрати!

Мама выхватывает сахарницу, бьет по рукам десятилетнюю Лидию и толкает на место тринадцатилетнюю Анну.

Александр, который только что вошел в столовую, избалованный «единственный сын в семье», зевает, берет кусок хлеба с маслом, запихивает его в рот.

— Александр, сядь! — кричит мать. — Это не делают стоя! Господи, за что я наказана!

Тут на сцене нашего семейного театра появляюсь я, восьмилетняя девочка в ночной рубашке. Я вплываю в столовую и делаю попытку забраться на стул.

Мать оборачивается и всплескивает руками:

— Это что за чудо-юдо! Ты куда это лезешь расхристанная! Я не пушу тебя такой к столу! А ну немедленно иди… — Она оттягивает меня от стула, подталкивает к дверям. — Живо умываться! В воскресенье — в таком виде! позорище!

— Я уже умывалась… — бормочу я по-английски.

— По-русски! По-русски говори с матерью! Сколько раз повторять?!

Мать всегда требовала, чтобы я говорила с ней по-русски. Но я была молчаливой робкой девочкой — типичным младшим ребенком в семье. Мое общение с матерью и свободно болтавшими по-русски братом и сестрами сводилось к обмену бытовыми фразами — слишком мало для полноценной языковой практики. Поэтому моя русскоязычность развилась однобоко: в восемь лет я отлично понимала русский, как, впрочем, и сейчас понимаю, но никогда я не была способна выражать на нем сложные мысли и понятия. Как будто на меня наложили печать немоты в пространстве этого языка.

Лидия и Анна опять дерутся.

— Лидия! Опять!.. Девочки! — кричит мать и бросается разнимать их.

Я и Александр бесстрастно наблюдаем.

— А отцу все равно! А отцу наплевать! Джордж! Господи! Да будет ли у нас приличный дом когда-нибудь?!

Отец на миг поднимает взгляд и опять утыкается в газету.

Старшие сестры хихикают.

— Ну мама! Он же все равно не понимает по-русски! — говорит Лидия.

— Зачем я вышла замуж за этого человека! Погубленная жизнь!.. — восклицает мать по-английски — драматизм ее реплики вновь на мгновение превращает семейный завтрак в подобие театральной постановки, — а затем вздыхает и добавляет более бытовым тоном, снова по-русски: — Ирка, марш переодеваться!

Я флегматично выплываю из комнаты, и после этого вся сценка гаснет в моей памяти. Так и не вспомнить мне никогда, каков был вкус того воскресного завтрака, помирились ли старшие сестры, сумела ли тогда мать вывести отца из его обычного состояния безучастности…

Еще одно воспоминание из самых ранних лет моей жизни: мы с матерью ждем у дверей студии, пока у Александра, Лидии и Анны закончится урок танцев, и затем они выходят к нам, одетые в специальную форму, запыхавшиеся и важные от сознания значительности своих занятий, а я тихо им завидую, потому что мать, из соображений экономии, посчитала, что я еще слишком мала, чтобы отдавать меня вместе с ними в студию.

Однако, хотя я и завидую брату и сестрам, мне и в голову не приходит просить, канючить и уговаривать мать записать и меня тоже в танцкласс. Как я теперь понимаю, в этом и заключалась особенность моей личности: я словно бы всегда предпочитала плыть по течению, воспринимая любые события как должное, не стараясь изменить их, но приспосабливаясь к ним. Некоторые назвали бы это слабостью, но на самом деле это просто такое свойство характера. Это личностное своеобразие. Это просто один из способов существования в нашем мире — не лучше и не хуже других.

Из воскресных воспоминаний примерно того же периода: мы все вместе, исключая отца, который обычно не участвует в наших прогулках, заходим в православную церковь и слушаем службу. Мать набожно шепчет молитву. У брата и сестер хватает терпения стоять спокойно, но я быстро устаю, отвлекаюсь, верчу головой. Священник смешно запинается,

читая текст. Я и Лидия фыркаем. Лицемерка Лидия тут же берет себя в руки, делает набожную физиономию и отвешивает мне подзатыльник, который я воспринимаю смиренно, как младшая в семье.

Когда мы возвращаемся из церкви домой, навстречу попадается богатая китаянка с девочкой. Девочка держит красивую куклу.

Я засматриваюсь на куклу, замедляю шаг и почти повисаю на Лидии, которая по приказу матери вынуждена держать меня за руку.

Лидия раздраженно отпихивает меня и ускоряет шаг.

— Да ну тебя! Сама иди! — говорит она, всегда готовая показать, что такие малолетки, как я, ей не пара.

Отстав, я бросаюсь догонять семью.

Я всегда думала: как странно, что я так и не выучилась толком говорить по-русски, хотя для этого были все условия. Я привыкла только понимать русский, но не говорить на нем. Я отлично понимаю этот язык и могу, если надо, сделав небольшое усилие, ответить без акцента. Но все-таки это только видимость. Психологи утверждают, что в этом нет ничего необычного, что полубилингвов гораздо больше, чем билингвов.

Русский был языком для домашнего использования. Гораздо чаще я говорила на английском и французском. На этих языках велось преподавание в школе.

Кроме того, мой постепенно спивающийся отец часто разговаривал со мной на английском. Не то чтобы я была его любимицей — он выделял меня чисто по принципу противоречия: раз я считалась самой незначительной в семье, то вот он и выбрал меня себе в соратники по отстранению от всех. Я думаю, по этой же причине он стремился привить мне привычку говорить на английском — чтобы расширить свое англоязычное пространство и создать заслон от экспансии шумного и нежеланного влияния русской жены.

Я вспоминаю, как он вслух читает мне «Винни-Пуха», лежа на диване в гостиной. Я сижу на стуле рядом и слушаю со смешной серьезностью. Где-то на заднем плане мать вытирает пыль с мебели — она никак не могла привыкнуть, что это занятие для прислуги, — и, как обычно, что-то выговаривает то ли Анне, то ли Лидии.

Отец забавно изображает персонажей из «Винни-Пуха». Я смеюсь.

Отец откладывает книгу, берет бутылку, стоящую рядом с диваном, отхлебывает и спрашивает тоном экзаменатора:

— Как тебя зовут, дитя?

Я с готовностью отвечаю, произнося свое имя на русский манер:

— Ирина Коул!

— Нет! Ответ неверный!

Я спохватываюсь и произношу свое имя на английский лад:

— А! Ирэн! Ирэн Коул!

— Нет! Твое имя — Айрини! — торжественно говорит отец.

— Айрини?.. — заинтригованно повторяю я.

— Так звали даму в книге одного английского писателя — Айрини. Это дама из высшего света! Она была загадочная и превосходная! — поясняет отец.

То, что отец удостоил меня сравнением с какой-то дамой из высшего света, приводит меня в восторг.

— Ого! Загадочная и превосходная! О, я тоже буду такой! — восклицаю я.

Отец и мать поженились по любви, но к моему рождению эта любовь прошла. Тогда я, конечно, не понимала их отношений. В них, по-видимому, было довольно много житейской грязи, но, пока не доходило до открытых стычек, у родителей хватало ума с грехом пополам держать свои счеты подальше от детей.

У отца была любовница-китаянка. Моя мать давно смирилась с наличием китаянки, но не могла смириться с тем, что он делал этой женщине щедрые подарки, оттягивая, таким образом, деньги от семейного бюджета. Думаю, что отношения моих родителей можно было бы назвать бесконечным нейтралитетом, при котором мать и отец почти не разговаривали друг с другом. Нейтралитет изредка переходил в недолгое семейное благоденствие, но чаще нарушался скандалами и сценами со слезами и рукоприкладством — обычно из-за денег.

Я вспоминаю, как я, маленькая девочка, просыпаюсь от приглушенного шума в гостиной, вскакиваю и бегу туда. Притаившись у дверей, я с детским ужасом наблюдаю, как растрепанная мать пытается что-то вырвать из рук отца.

— Негодяй! Я так и думала! Ты уже и до этого скатился! — страстно обвиняет мать.

— Уйди с дороги, — коротко говорит отец.

— А те деньги? тоже пошли этой шлюхе? А дети пусть с голоду помирают, да?!

Отец отталкивает ее. Она бросается на него. Он очень сильно, больше не сдерживая злость, толкает ее, она падает.

Мать срывается на крик:

— Ах, свинья! Ненавижу! Если бы не дети!..

Мимо меня вихрем проносится Анна, врывается в комнату, обнимает мать, помогает ей встать.

— Мамочка!.. Мамочка! что этот подлец опять тебе сделал?.. — с плачем спрашивает она.

Я тоже начинаю плакать. Лидия, которая уже прибежала и стоит рядом, тоже всхлипывает.

Отец выходит, делая вид, что не замечает нас, — и надолго покидает дом, скорее всего, отправляется к своей китайской любовнице.

Все стычки родителей слились в моей памяти в эту обобщающую сцену. Подобные эпизоды повторялись бесчисленное количество раз с некоторыми вариациями: то вдруг в ссору вместо Анны вклинивался Александр, то мы с Лидией начинали разнимать родителей, то анекдотическим образом внезапно в самый разгар конфликта выяснялось, что в другой комнате загорелась занавеска от солнечного луча, прошедшего через забытую кем-то лупу, — и все, забыв о разногласиях, бросались тушить пожар.

Но несмотря на то, что у нас были свои «скелеты в шкафу», я бы не назвала себя ребенком с ужасным детством, а семью несчастливой. Не было даже раскола детей на лагери поддержки кого-то из родителей, если не считать Анны, которая всегда была настроена против отчима. Обычная семья среднего класса из Французской концессии. Только сейчас — спустя много лет — я начинаю понимать, что росла в довольно экзотичном окружении. Но тогда эта экзотика воспринималась как норма, как часть жизни.

Иногда в памяти всплывают картинки из прошлого, которые заставляют меня думать, что моя семья в некотором смысле могла считаться счастливой. Редкие моменты, когда мы все ощущали себя как единое целое. Эти эпизоды содержат такой запас счастья, что, даже просто вспоминая о них, я чувствую себя счастливой.

Такое понимание единения с моими родными однажды снизошло на меня в кинотеатре,

где мы сидели все вместе в одном ряду и смотрели картину с печальным концом.

Мать, сестры и я дружно заливаемся слезами. Александр и отец насмешливо посматривают на нас.

— Вот дурочки — плачут! Смотрите на них! Скоро все платки прорвутся! — шепотом по-русски издевается над нами Александр.

Тема платков действительно назрела. Лидия громко сморкается. Я тоже громко шмыгаю носом.

Отец, сидящий в конце ряда, достает платок из кармана и передает нам его через Александра, бормоча что-то про необходимость «предотвращения всемирного потопа».

После киносеанса мы возвращаемся целой процессией домой по ночной улице. Мать и Анна впереди. За ними бредем я и Лидия, в лицах изображая героев только что просмотренной картины. За нами — брат. Отец медленно едет за нами в автомобиле.

— Ах сэр! вы разбили мне сердце! мне жизнь не дорога без вас! — страстно восклицаю я, прижимая руки к груди.

— Нет! было вот так: «Ах, сэр! я погибну от любви к вам!» — поправляет меня Лидия.

Впереди мать рассуждает с Анной тоже на тему любви, но немного в другом ключе.

— Да… Настоящие мужчины умеют сильно любить… Как же я мечтаю, чтобы вы, мои девочки, встретили таких!.. Но — увы! Такие мужчины редки… Пример с вашим отцом показывает, что… К сожалению, это… Хотя тебе рано об этом знать… — Мать вздыхает, и, оборачиваясь, зовет: — Ирина, Анна! Где вы там! Почему вы так отстали?

— Я не Анна, мам, — насмешливо откликается Лидия, и все дети хихикают.

— Ох, прости господи!.. — сокрушенно говорит мать.

Александр задерживается у лотка и покупает китайские сладости на деньги, которые дал ему отец. Он догоняет меня и Лидию.

— Мадемуазель! силь ву пле! — галантно говорит он, вручая каждой из нас по пригоршне.

— Мерси, — жеманно благодарит Лидия, и я вслед за сестрой, старательно подражая ей, с той же интонацией тяну «мерси». Но Александр уже не слышит меня — он бросается догонять мать и Анну и тоже одаривает их липучками, приговаривая: «Мадам, мадемуазель, силь ву пле!»

Иногда мать устраивала в квартире масштабную генеральную уборку — это было очень увлекательно. На свет божий вытаскивались все вещи, которые валялись забытые в дальних углах, и, пока их чистили, мать вспоминала и рассказывала нам истории о том, откуда они взялись.

В такие дни мать нанимала двух-трех работниц-китаянок, а мы, дети, помогали им таскать кипяток в ведрах, или сортировали белье и одежду, или сами стирали, или протирали то, что требует особенно деликатного обращения. В те моменты казалось, что весь мир сосредоточен вокруг семьи Коул.

Вот в моей памяти оживает картинка, как мы все с энтузиазмом занимаемся общим делом: Лидия выкручивает и развешивает выстиранное белье, я сортирую одежду по корзинам, мать и работница-китаянка ставят на огонь таз с водой. Анна в глубине кухни полощет уже чистое белье, затем начинает строгать мыло для мыльного раствора — ей помогает Лидия; чуть поздней к ним присоединяюсь я.

Мы строгаем мыло и слушаем историю о том, как мать сбежала в Шанхай из

большевистской России со своим первым мужем и трехлетней Анной. Мы знаем эту историю наизусть, но каждый раз снова завороженно слушаем ее, потому что она напоминает нам сказку.

— …А когда мы, русские беженцы, получили наконец разрешение от властей сойти на берег, первое время мы жили в страшной нищете! Я с Анной на руках, — рассказывает мать. — Анна была вот такая крошечная и постоянно просила «мамочка, дай хлебушка»… Это было в двадцать втором, да, в двадцать втором… Подумать только, совсем немного времени прошло, а как все изменилось…

— Я совсем ничего такого не помню… Невероятно… Не может быть… — с сомнением говорит Анна, сидящая рядом со мной.

— Еще бы!.. Тебе было три года… Но потом я сразу сориентировалась и вышла замуж за Джорджа — и стало полегче. Мне завидовали очень многие: ведь я была не так уж и молода, и с ребенком — но мне удалось и создать опять семью, и получить американское гражданство. А потом, через год, родились двойняшки — их назвали в честь русских дедушки и бабушки, их в России замучили большевики; а еще через год родилась Ирочка…

Я, услышав свое имя, поднимаю голову и настораживаюсь, готовясь насладиться коротким мигом внимания к моему положению в семейных хрониках.

— Я так назвала тебя в честь старшей сестры… Она, бедняжка, тоже погибла в гражданскую… — вздыхает мать и готовится еще что-то сказать обо мне, моем имени и моей погибшей от рук большевиков русской тете, по всей видимости, замечательной, потому что не зря же меня назвали в ее честь.

Однако Анна перебивает:

— То, что ты говоришь, мамочка, напоминает эпизод из Средних веков…

Мать вздыхает.

— Да, теперь-то мы избалованы хорошей жизнью. Вам и представить невозможно, каково оказаться без крова на чужой земле! Эх, девочки мои!.. Вы живете сейчас, не зная горя, — вы не представляете, какой ценой я создавала это благополучие! Вот что я скажу: всегда держитесь друг друга! Самое дорогое, что может быть, — это семья! Кто поможет тебе в этом мире, если не самые родные, близкие люди? — Никто!

Лидия брызгает водой из таза на кошку, сидящую на подоконнике, — кошка взвивается и убегает. Я перестаю вслушиваться в то, что говорит мать, и хохочу вместе с Лидией. До сих пор жалею, что отвлеклась: может быть, именно в тот раз мать рассказала что-то очень важное о нашей семье — что-то такое, что позволило бы моей памяти настолько сильно зацепиться за моих родных, что они смогли бы остаться со мной и после того, как воспоминание погаснет.

Практически все самые яркие воспоминания детства связаны с семьей. Единственным событием, где память не только зарегистрировала взаимоотношения в семье, но и отметила некоторый интерес к внешнему миру, было посещение банка с отцом и Александром в один солнечный сентябрьский день.

Мне десять лет. Отец взял нас на прогулку. Для меня это небывалый, невиданный праздник. Я невероятно горжусь: наши мужчины снизошли принять меня в свою компанию. Отец везет нас в парк, и по дороге мы заезжаем в банк. Пока отец решает какие-то вопросы с банковским управляющим, мы с братом сидим на мягком кожаном диване и, беззаботно болтая ногами, разглядываем все, что нас окружает.

Офис банка похож на зал из сказочного дворца: вращающиеся стеклянные двери,

хрустальные люстры и повсюду на стенах зеркала. Из больших окон на мраморные плиты пола — черные и белые, как на шахматной доске, — падают резкие розоватые лучи предзакатного солнца и тянутся дальше, вглубь просторного помещения, делая объемнее и ярче все предметы на своем пути. Приветливая девушка-конторщица угощает нас шоколадными конфетами и с улыбкой спрашивает, не принести ли чаю.

Из банка мы не спеша идем к парку через залитую солнцем площадь. Неподалеку шумит стройка, на этом месте скоро будет суперсовременное здание — «как в Нью-Йорке», так говорят в нашей семье обо всех новшествах. Репортер-американец с фотокамерой останавливает молодого китайца, который катит тачку с цементом, и просит его позировать для снимков. В моей голове проносятся соображения о том, что американец ведет себя странно. Зачем делать фотографии никому не интересного китайского рабочего, если можно запечатлеть меня, маленькую принцессу, разве я, моя семья и другие семьи белых шанхайцев не являемся центром и сутью шанхайской жизни? Это было первое и, наверное, единственное в моей жизни проявление колониального сознания. Я чувствовала себя избранницей судьбы, вокруг которой должна вращаться вселенная, — так совокупно подействовали на меня хорошая погода, ощущение безопасности в обществе отца и брата и короткое погружение в атмосферу колониального комфорта. Освещенный розовым солнцем Шанхай в те мгновения представал предо мной во всем великолепии как город гордых белых людей, живущих в красивых и чистых домах, таких как это здание, которое возводят неинтересные, испачканные цементом китайцы. И конечно, я совсем не могла предположить, что этой торжествующей белой цивилизации осталось существовать считанные годы.

Глава 2

Александр учился в школе для детей американцев, а нас, девочек, мать определила в школу при французском муниципальном совете.

В этой школе учились дети подруги матери, Александры Федоровны Татаровой. Татаровы владели полотняной фабрикой и гостиницей, были очень богаты и входили в элиту русской общины Шанхая. Мать чрезвычайно дорожила знакомством с этой семьей. Она мечтала выдать Анну за Николая, старшего сына Татаровых, которого звали на французский манер Николя.

Николя был принцем из сказки для всех русских девушек из Французской концессии. Он и вел себя как принц: то таинственно исчезал, то с блеском появлялся. Когда он исчезал, говорили, что он уехал слушать курс в Оксфорд или отправился путешествовать по Европе, а когда появлялся, к нему невозможно было подступить из-за вечно окружавшей его толпы друзей по яхт-клубу и боготворящих его девиц на выданье.

Для нашей семьи, однако, этот баловень судьбы был почти своим человеком, потому что Татаровы и наша мать вместе прибыли в Шанхай из России и вместе прошли через лишения двадцатых годов. Когда мать удачно вышла замуж за моего отца, Татаровы жили впроголодь, и мать часто помогала им сводить концы с концами. В те времена они с Марией Федоровной были закадычными подругами, но после того, как в семью Татаровых пришло богатство, Мария Федоровна стала несколько отдаляться. Даже наша простодушная мать отмечала это почти неуловимое отдаление и все чаще ворчала в том духе, что «Машка что-то слишком кичится перед нами».

В их дружбе мать теперь была зависимым лицом, а Мария Федоровна — свободным, так как Мария Федоровна не имела никаких интересов, а мать как раз имела явно выраженную заинтересованность в женитьбе Анны и Николя. Имея эту цель постоянно в поле зрения, она даже отдала нас в ту же школу, где учились младшие дети Татаровых, в надежде, что наше постоянное общение с ними укрепит связи между семьями и повысит шансы старшей дочери на брак.

Между тем как-то само собой получилось, что ни я, ни Лидия — ровесницы младших Татаровых — не общались с ними в школе и не обращали друг на друга никакого внимания. Дочери Татаровых имели подруг из семей, которые лучше соответствовали их положению, а с нами только вежливо, но равнодушно здоровались при встрече, помня, что их мать приятельствует с нашей.

Они приезжали в школу и уезжали из нее на автомобиле с личным шофером, и каждый раз после уроков нам с Лидией приходилось немного задерживаться в классе, чтобы случайно не столкнуться с ними у входа — ведь в таком случае они вынуждены были бы предложить подвезти нас до дома, а нам пришлось бы придумывать повод, чтобы отказаться. Это было бы неудобно и им, и нам.

Лидия, бывало, стоит у окна пустой классной комнаты, скрестив руки на груди, и высматривает, выехал ли автомобиль Татаровых со двора.

— Ну езжайте же уже, езжайте, — недовольно бормочет она себе поднос, глядя, как дочери Татаровых непринужденно болтают с кем-то из учениц, а неподалеку шофер придерживает для них открытой дверцу автомобиля.

Я подхожу к окну из глубины класса и тоже смотрю вниз, в залитый полуденным

солнцем двор.

— Богатые — счастливчики, правда? — беспечно говорю я сестре. — Разве ты не хотела бы тоже приезжать каждый день на автомобиле в школу?

Лидия кривит губы и фыркает.

— Мать велит тебе говорить со мной по-русски — а ты опять мямлишь что-то по-английски, — пеняет она мне, обходя тему татаровского богатства.

Она, как и Анна, завидовала дочерям Татаровых и именно поэтому старалась не упоминать о них. Великолепие жизни, в которой мои сестры не могли участвовать, раздражало их обеих, и они вечно делали вид, что им безразлично.

Но это показное равнодушие не всегда удается скрывать, когда мы приходим в гости к Татаровым.

Привратник открывает витую калитку во двор богатого особняка. Перед нами роскошный дом, окруженный великолепным парком. Такая концентрация богатства напоминает рай на земле, и невозможно ею не восхищаться.

Мы идем по аллее к дому. Я и Лидия дергаем друг друга за рукава, привлекая внимание к тому, что поразило наше воображение: фонтану, беседкам, обвитым розами, павлинам на лужайке. Анна и Александр ведут себя сдержанней, но я чувствую, что и они оглушены размахом и блеском особняка.

Затем нас принимает Мария Федоровна в своей потрясающе шикарной гостиной. Мы, дети, сгруппировались вокруг матери в одном конце зала. В другом конце, словно королева на троне, величественно восседает госпожа Татарова, а по обе руки от нее — ее отпрыски: слева — дочери-подростки Мэри и Софья, справа — Николя, двадцатилетний красавец, мечта всех русских невест Шанхая.

Мать, бедняжка, очень старается «поддерживать тон»: поддакивает каждому слову Татаровой, хлопочет лицом. Мария

Федоровна ведет себя, как снисходительный манерный истукан. Дети благовоспитанно слушают разговор старших — с разной степенью скуки и безучастности на лицах. Только нашу Анну нельзя назвать безучастной, хотя она и делает изо всех сил вид, что ей скучно, — ведь каждая встреча с Николя воспринимается ею как еще один шаг к счастливому замужеству. Не знаю, что думал на этот счет Николя, но с Анной он всегда держался очень мило, и они действительно были друзьями детства.

— Макс прислал письмо из Лондона… Удивительные вещи пишет… — растягивая слова, словно бы пытаясь специально показать, как ей, в сущности, безразличен наш приход, говорит госпожа Татарова. Затем, обращаясь к сыну, просит: — Николя, будь добр, передай письмо со стола.

— Да, маман, — любезно отвечает Николя, только что сдержавший позыв к зевоте.

Мария Федоровна, принимая письмо, ласково гладит сына по руке:

— Николя нас тоже радует! Первый в списках студентов! За блестящие отметки отец подарил ему автомобиль…

— Ах, какой умница! — чрезмерно умиляется мать. — Я не перестаю восхищаться твоими детьми, Машенька!

Я чувствую: сестрам и брату не нравится это замечание. Лидия кривит губы, а Александр рефлекторно дергает подбородком. Анна старательно улыбается, но виду нее оцепенелый. Мать слегка перестаралась в своем незатейливом рвении сказать любезность. Зачем так нахваливать чужих детей, если есть собственные!

Зато, когда мы покидаем особняк и дворник запирает за нами калитку, настроение матери резко меняется. Добродетели семьи Татаровых теперь уже не восхищают ее, а наоборот — раздражают. Она дает волю чувствам и принимается заочно сводить счеты с Марией Федоровной за холодность приема.

— Слыхали?! Она еще смеет передо мной хвастать!.. Да кто она такая, эта Машка? Вы посмотрели бы на их жалкий вид, когда они сюда приехали! — гневно восклицает она, а затем, приободрившись, добавляет убийственный, по ее мнению, аргумент, который должен развеять в пыль превосходство Татаровых над нами: — А зато у нас — американское гражданство! Пусть-ка попробуют получить американское гражданство! Ха-ха!

— А американское гражданство — это хорошо, мама? Это почетно? — спрашивает Лидия.

— Еще бы! Хоть у них деньги, а зато у нас — гражданство! А без гражданства кто они? Тьфу — плюнуть и растереть! — эмоционально заявляет мать.

Кроме Татаровых, у нас не было близких знакомств в среде русской эмиграции. Мать иногда вспоминала о какой-то Наташеньке, с которой она дружила в горькие двадцатые, но эта Наташенька непонятным образом куда-то исчезла: то ли умерла, то ли сгинула в каком-то борделе.

Те русские, с которыми нас время от времени сводила судьба, либо были бедны и сразу пытались как-нибудь использовать знакомство с матерью, к примеру выклянчить место в компании отца, либо были богачами вроде Татаровых и не интересовались таким скромным знакомством.

Наш социальный статус был довольно сомнительным и для того, чтобы войти на равных в круги американских или британских экспатриантов. Отец жил своим пристрастием к азартным играм, спорту, посещая ночные клубы со своей китайской любовницей, и был совершенно равнодушен к тому, какое положение его семья занимает в местной иерархии. Моя русская мать выглядела в глазах изысканных американок нелепой старомодной дурочкой, и они даже не прилагали усилий, чтобы скрыть свое презрение к ней, когда она появлялась на приемах для американских граждан.

Я помню, как однажды на рождественской елке для детей сотрудников компании отца меня впервые больно поразило положение моей матери.

Мне тогда было около девяти лет, и я была в совершенном восторге от праздника. Мне нравились веселый Санта Клаус с пышной бородой и прекрасная, как ангел, дама-распорядительница, чьи драгоценности сияли не хуже рождественской елки.

Я, Лидия и Александр — Анны с нами нет, Анна уже слишком взрослая для таких праздников — стоим в очереди за подарками. Их выдают у роскошной новогодней ели Санта Клаус и добрая дама-распорядительница.

— А сейчас мы послушаем тех, кто прочитает стишок про Рождество!.. Ну-ка, дети! Кто из вас расскажет Санте?.. — призывным голосом подстегивает нас дама-распорядительница.

Веселый Санта Клаус подхватывает:

— Да, ребятишки! кто расскажет мне стишок?! я дам вам за него отличный подарок!

Он трясет мешком перед нашими носами, хотя все знают, что подарки не в мешке, а сложены аккуратной стопочкой за елкой.

— Я! — Я знаю стишок про Санту!.. — звонко выкрикивает самый смелый мальчик рядом со мной.

Другие дети тут же подхватывают хором голосов: «И я тоже!», «Я тоже знаю стишок!»

Некоторые даже подпрыгивают, чтобы Санта их заметил.

Дама-распорядительница выводит из круга детей крошечную девчушку.

— Давайте послушаем вот эту малышку, — говорит она.

Санта очень достоверно притворяется удивленным:

— Неужели такая маленькая девочка сумела выучить стишок о Рождестве? Давайте-ка послушаем ее.

Я знаю по опыту предыдущих рождественских елок, что Санта и дама-ангел заранее сговорились с родителями и приготовили подарки специально «для самой маленькой девочки», «для мальчика, который в этом году пошел в школу», «для девочки, которая каждую неделю пишет письмо бабушке в Нью-Йорк» и других мальчиков и девочек, каждого из которых выделяют какие-то замечательные качества. Я уже получила свой подарок, как «девочка, которая научилась красиво вышивать», и теперь просто стою в стороне. Пока самая маленькая девочка рассказывает свой скучный стишок, я оглядываюсь и отыскиваю взглядом мать в толпе гостей.

Она, скромно ссутулившаяся в углу, выглядит чужой и одинокой в своем несовременном платье среди ультрамодных американок. Ей, видимо, очень неуютно здесь, но она бодрится и время от времени заставляет себя встряхнуться и распрямить плечи.

Американские матери сидят группой и оживленно о чем-то переговариваются, не обращая на нее внимания. Официант подвозит к ним на передвижном столике чай и пирожные.

Мать дожидается, когда тележка с угощением подъедет к ней, берет чашку, — но, когда она тянется за оставшимся пирожным, его перехватывает сидящая рядом американка. Мать опускает руку. Виду нее поникший и по-детски обиженный.

Американка притворяется, будто ничего не замечает, и отворачивается к своей собеседнице.

Я чувствую, что меня будто иголкой кольнуло в сердце. Даже если мама выглядит неотесанной по сравнению с этой элегантной женщиной — зачем с ней так поступать? Ведь это же моя мамочка! Мне хочется подбежать и обнять ее, чтобы утешить и защитить от красивых, но злых иностранок.

Но вдруг мать оживляется, заметив что-то в стороне, и начинает тихонько, но сердито окликать кого-то и грозно жестикулировать. Я смотрю туда, куда смотрит она, и вижу, что Александр с каким-то мальчиком развлекаются тем, что незаметно обдирают блестящую мишуру, развешанную по стенам. Мое внимание переключается, и я тут же забываю о том, как мою маму только что обидели, — а может быть, не забываю, а стараюсь поскорее выбросить из головы эту сцену, потому что слишком неприятно думать о том, что я видела.

Возможно, именно потому, что мать чувствовала себя белой вороной среди американцев, она прекратила попытки внедриться в их общество, когда я и Лидия достигли подросткового возраста. Она объясняла это тем, что Анна-де теперь невеста и следует сосредоточить усилия на том, чтобы поскорей устроить ее замужество с Николя, а для этого нужно пока держаться русских знакомств, чтобы вращаться в том же круге, что и он. Мы же с Лидией были пока еще малы, чтобы задумываться о нашем замужестве, поэтому временно можно было расслабиться и не беспокоиться о выводе нас в свет.

«Вот пристрою Анну, займусь вами, — говаривала мать. — И тогда уж, конечно, придется мне опять потаскаться на американские гулянки». И обычно добавляла, что очень жаль, что у господина Годдарда нет сыновей, а то бы она выдала нас за них. Помнится,

Лидию ужасно возмущала такая перспектива. «Еще не хватало выйти замуж за сына господина Евразийца!» — фыркала она.

Господин Годдард, несмотря на британское подданство и свое английское имя — Оливер Годдард, — был полукровкой, сыном англичанина и дочери богатого китайского купца.

Детей от браков белых с азиатами называли евразийцами, поэтому Лидия и Анна, которые очень рано набрались колониальной спеси, презрительно окрестили его господином Евразийцем.

Господин Евразиец был другом моего отца по спортивному клубу. Ему было около пятидесяти. В юности он получил отличное образование в Англии, а затем вернулся в Шанхай, женился на некой Сью Браун, полукитаянке, и занялся бизнесом. Жена его была женщиной болезненной и умерла вскоре после того, как он свел знакомство с нашей семьей. Детей у них не было.

Мать часто приглашала господина Евразийца с женой к нам на воскресные обеды. Мы не любили, когда они приходили. Это были очень скучные обеды. Господин Евразиец обычно поддерживал разговор общими фразами, а его хилая супруга всегда виновато улыбалась, кутаясь в шаль, и, казалось, была благодарна, когда мать не заставляла ее участвовать в беседе.

Сестры посмеивались над манерами и внешностью господина Евразийца. Он был больше похож на школьного учителя, чем на бизнесмена: вечно съезжающие на нос маленькие очки, прилизанные небольшие усы и такие же прилизанные волосы, аккуратный, но неброский костюм. С первого взгляда ни за что не поймешь, что он полукитаец, любой намек на китайщину тщательно вытравлен из его внешности и поведения, однако если приглядеться, то можно заметить за очками осторожный и внимательный взгляд азиата, и всегда было какое-то смущение в его выражении лица, как будто ему неловко за то, что он, по виду человек белой расы, прячет в себе китайца.

Он был очень вежлив и молчалив, и никогда невозможно было понять, что он о вас думает. Нам, детям, он приносил конфеты и подарки, но ему так и не удалось добиться нашего расположения: Анна и Лидия называли его за глаза не иначе как «господин Евразиец», или просто «китаец», или «китаёза», я, как личность, не имеющая собственного голоса ни в каких вопросах, подражала сестрам, а Александру в те времена было все безразлично, кроме футбола.

Мы недоумевали, что заставляло наших родителей считать такого странного человека другом семьи.

«Зачем ты его приглашаешь, мам? — спросила однажды Анна. — Он же кошмарно скучный».

Матери не понравился этот вопрос, она вспылила и накричала на Анну за то, что та неблагодарна и не ценит доброты господина Годдарда — ведь он, этот добрейший человек, делает ей подарки, постоянно выручает нашу семью в денежных вопросах и присматривает, чтобы отец не поставил слишком много на скачках.

Глава 3

Мне было тринадцать лет, когда началась Вторая японо-китайская война и в Шанхай вошли японцы.

Начало войны запомнилось мне рассказами одноклассниц о том, как они видели из окон своих домов дым, тянувшийся от пожаров в китайской части города, и размещенной во всех газетах мира фотографией чумазого плачущего ребенка на рельсах железнодорожной станции «Юг», разбомбленной во время японского авианалета. Одна из моих американских подружек, чья семья жила неподалеку от Гавани, рассказывала, что, когда японские корабли отражали ночные налеты китайской авиации, в их квартире было светло от вспышек, как днем, и казалось, будто где-то идут бесконечные фейерверки.

В Шанхай потянулись беженцы, а иностранцы постепенно покидали город. Хотя и Французская концессия, и Международный сеттльмент были нейтральными зонами с собственным управлением, жить здесь становилось неуютно. К концу года в городе белое население в основном представляли семьи наиболее жадных бизнесменов, желавших нагреть на войне руки, сотрудники иностранных компаний, которые польстились на увеличенное из-за войны жалование, а также евразийцы и русские эмигранты — тем просто некуда было уехать.

Осенью тысяча девятьсот тридцать седьмого года даже наш вечно безразличный ко всему отец забеспокоился и принялся настаивать на отъезде. Мать яростно возражала. Она требовала, чтобы отец продлил контракт со своей компанией еще на несколько лет.

Мне очень хорошо запомнился бурный спор родителей о том, уезжать или оставаться. Все-таки это касалось нас всех. Мы, дети семьи Коул, выросли в убеждении, что Шанхай — временное пристанище, а наша настоящая страна — это Америка и рано или поздно наша семья уедет туда, за исключением, конечно, Анны, которая к тому времени, вероятно, будет замужем за Николя. Но отъезд в Америку представлялся нам невероятно отдаленным событием, это должно было произойти когда-нибудь потом, когда мы все станем взрослыми, выучимся и, возможно, у нас уже будут свои собственные семьи. Зачем же уезжать именно сейчас, когда нам хорошо, мы считаем Шанхай своим домом и все кругом нам привычно? В Америке нас никто не ждал, все близкие родственники отца умерли.

Мы все растерялись. Мы вдруг поняли, что нас пугают резкие изменения жизненного устройства. Точнее, это поняли я, Лидия и Александр, а мать и Анна и слышать не желали о том, чтобы уезжать.

— Ты всегда думал только о себе!.. Тебе плевать, что с нами будет!.. — путая от волнения русские и английские слова, кричит мать после того, как отец сообщил, что решил не продлевать срок контракта. — Мы же собирались уезжать, когда дети закончат школу! Разве это разумно: все менять одним махом? Где мы будем жить в Америке? У нас там никого нет! Опять начинать жизнь заново?! О боже, этот человек меня убьет! Он меня доконает!

— Папа, может, в самом деле не надо… — тянет в замешательстве Лидия.

— Молчи! — обрывает ее отец и говорит, обращаясь к нам, детям: — Выйдите отсюда.

Я и Александр повинуемся приказу и плетемся к дверям. Анна и Лидия остаются в комнате. Анна начинает всхлипывать, Лидия подходит к ней и обнимает, стараясь успокоить.

Мы с Александром стоим в коридоре и прислушиваемся к крикам за дверью.

— Ты не понимаешь, что происходит! ты можешь когда-нибудь соображать более широко? То, что ты хочешь, — опасно! — кричит отец.

Я почти никогда не слышала, чтобы отец кричал по какому-нибудь поводу, и поэтому чувствую еще большее беспокойство. Во время скандалов кричит обычно мать. Отец крайне редко повышает голос, предпочитая в основном отмалчиваться или отделываться короткими репликами.

Я смотрю на брата. Александру тоже не по себе, но он уже научился внешне сдерживать волнение.

— А ты тоже хотел бы уехать? Ты считаешь, отец прав, что хочет увезти нас? — спрашиваю я.

— Ну… пожалуй, было бы неплохо наконец познакомиться с родиной… — говорит с важным видом Александр. — Я не прочь пожить в Америке. Я не боюсь япошек, но без британов и американцев здесь будет не так шикарно…

Его рассуждения прерывает голос матери за дверью:

— Я пережила революцию! Я пережила эмиграцию!.. Все самое страшное я уже пережила!.. Чего нам бояться каких-то японцев?! И опять срываться с места и ехать куда-то? Зачем? Для чего?..

Мы слышим всхлипывания матери и растерянно переглядываемся с немым вопросом в глазах: не стоит ли войти и вмешаться?

— Глупая ты женщина! Ты ничего не понимаешь!.. Дура!.. Дура!.. — теряя остатки терпения, кричит отец. Слышно, как он в раздражении отшвыривает от себя какой-то предмет.

Из дальней комнаты с кипой постельного белья чинно выплывает Минни, одна из наших ама, китайских служанок. Минни работает у нас много лет. Она обладает самым лучшим качеством восточных слуг — незаметностью. Не обращая внимания на крики родителей, она невозмутимо спрашивает, не видели ли мы запасной ключ от комода. Я ухожу вместе с ней искать ключ, а когда возвращаюсь, апогей скандала уже пройден.

Отец в холле накидывает пальто, собираясь уходить, — все ссоры всегда заканчиваются его уходом из дому на долгое время. Мать, вышедшая за ним из комнаты, продолжает причитать:

— Ты хочешь сделать это, потому что Анна тебе неродная! Тебе наплевать, что ты отнимаешь у нее шанс на замужество! Разве с родными дочерями ты так поступил бы?.. Какая жестокость! Бедная моя девочка! У нее нет отца! О ней некому позаботиться!

Анна всхлипывает в глубине комнаты. Ее можно понять. Если она сейчас уедет в Америку, то уж никогда ей не бывать замужем за обожаемым Николя. Я сочувствую сестре, но не могу сконцентрироваться на ее горе. Меня больше волнует, что нас ждет в Америке, сможем ли полюбить ее, примем ли мы ее и примет ли эта страна нас.

Отец уходит, а мы все, собравшись вокруг матери, жарко обсуждаем, как будем жить в Америке, и утешаем Анну тем, что за океаном она найдет себе множество других женихов, еще и получше Николя Татарова.

Но все же в тот раз мы не уехали. И причиной стала китайская любовница отца. Когда она узнала, что он собирается в Америку, чтобы удержать его, тут же соврала, что беременна. И отец, который и без того колебался насчет отъезда, вынужден был, проклиная коварство и своеволие глупых женщин, продлить контракт еще на несколько лет.

Мы остались в Шанхае и прожили там следующие четыре года. За это время мы привыкли к тому, что война где-то рядом, но нас она не касается. Однажды Николя Татаров спас меня от китайских беженцев, которые чуть не разорвали меня, когда я, возвращаясь из школы, бросила булочку оборванному китайчонку. Они сбежались в один миг неизвестно откуда и стали клянчить деньги. Я чуть не упала в обморок. Мне стало плохо от вида окруживших меня нищих китайцев.

К счастью, это случилось неподалеку от нашего дома и как раз в это время к нему подъехал на автомобиле Николя Татаров, подвозивший Анну с какого-то благотворительного мероприятия.

Я помню, как Николя ловко разогнал пинками китайцев и прямо-таки вырвал меня из их рук.

Подбежавшая следом Анна тут же начинает меня отчитывать.

— Когда ты научишься себя вести, Ирина?! Не смей связываться с этими вшивыми китайцами! А то скажут, что и ты такая же!..

— Почему их так много… таких… таких?.. — не слушая сестру, бессвязно бормочу я, обращаясь неизвестно к кому. У меня еще кружится голова от шока, и я не могу точно подобрать слова, чтобы выразить какую-то сильно расстроившую меня мысль.

— Беженцы… — снисходительно поясняет Николя. — Японцы захватили часть Китая. К местным нищим присоединились нищие из провинций. Но нас это не касается. Мадемуазель, будьте поосторожнее с ними.

И, сразу забыв об этом инциденте, он поворачивается к Анне, чтобы продолжить какой-то разговор, который им пришлось из-за меня прервать.

В другой раз я, идя куда-то с Александром, видела, как китайский торговец не успел вовремя убрать свою тележку с товаром с пути проходящих японских солдат и японцы избили его, а тележку перевернули и разбросали содержимое. Говорили, что солдаты избивают китайцев на улицах показательно, для запугивания, чтобы выбить из них дух сопротивления.

Мы, жители иностранных концессий, не любили японцев, но они вели себя по отношению к белым довольно корректно и их влияние почти не ощущалось в нашей части города. Мы надеялись, что война быстро закончится, но она продолжалась и продолжалась.

Глава 4

В начале сорокового года мать и мы, повзрослевшие дети семьи Коул, стоим у могилы отца.

Отец умер от сердечного приступа. Его компания выделила матери пенсию. Мы стали жить скромнее. Наши планы на будущее поменялись. Теперь, когда отца не было с нами, отъезд в Америку был отложен на еще более неопределенный срок, хотя сотрудники американского консульства настойчиво рекомендовали нам покинуть Китай из-за ухудшающейся политической обстановки. Но как нам было решиться на отъезд? Мы считались американцами только по документам, никогда не видели Америки, и мать отнюдь не жаждала на старости лет куда-то ехать и вновь кардинально менять жизнь. Вполне возможно, мы так и прожили бы в Шанхае до сегодняшнего дня, если бы мировая история повернулась по-другому.

Александр и Лидия поступили в университет Аврора. Анна готовилась к сдаче экзаменов на лицензию учительницы. Я заканчивала школу.

Этот период взросления запомнился мне тем, что жить становилось как-то неуютно, словно удобное и обжитое, но замкнутое пространство детства стало то тут, то там расходиться по швам, а в прорехи моего мирка начал врываться извне холодный воздух реальной жизни.

Господин Евразиец стал намного чаще появляться в нашем доме, помогая привести в порядок дела, совсем разладившиеся после смерти главы семьи.

— А ты знаешь, что китаёза давно спит с нашей матерью? — спросила меня Лидия со своей обычной жестокой прямолинейностью примерно через полгода после похорон отца.

Она достаточно хорошо меня знала и отлично понимала, что это сообщение разрушит мое по-детски наивное представление о матери и ее отношениях с отцом. Лидии нравилось разбивать мои иллюзии и с грубым злорадством наблюдать, как я молча мучаюсь. На фоне не по возрасту искушенных сестер я всегда выглядела инфантильным мечтательным подростком. Ни Лидия, ни Анна не упускали случая безжалостно высмеять мою боязнь реальности.

— Это неправда. Это невозможно, — сказала я Лидии, имея в виду, что мать и господин Евразиец слишком разные и не могли бы найти никаких точек соприкосновения.

Лидия издевательски фыркнула.

— А кто, по-твоему, оплачивает наше обучение?

Только после ее слов я начала задумываться над тем, на какие средства мы живем. В самом деле, пенсии отца не хватило бы, чтобы покрыть все наши расходы.

— Как можно быть такой наивной? Все давно знают, что они любовники. Мать спала с ним, еще когда отец был жив, — добавила Лидия. — Два года назад я случайно подслушала под дверью, что они вместе вытворяли…

— Не надо мне это рассказывать! Ничего не хочу знать! — вскрикнула я с ужасом и отвращением.

Лидия грубо рассмеялась.

— Когда ты наконец повзрослеешь, дурочка? — сказала она.

Я была ошеломлена. Слова Лидии перевернули координаты моего мира, как будто раздвинулись декорации на сцене театра, аза ними обнаружились другие декорации, и не

было гарантии, что за этими другими декорациями не найдутся третьи, четвертые — бесконечное количество. Моя простушка мать и невзрачный господин Евразиец сразу стали пугающе сложными и многомерными личностями. Мои брат и сестры стали сложными. Я тоже в один миг превратилась в сложную и непонятную самой себе.

Вопросы секса были табуированы в нашей семье. Я всегда считала, что мать интересуется только домашним хозяйством и нами, а она, оказывается, тайно изменяла отцу и вела себя как шлюха, когда оставалась за закрытыми дверями с господином

Евразийцем, и об этом, похоже, знали все, кроме меня, возможно, даже отец знал, но делал вид, что не знает, потому что «этот китаёза» покрывал его долги. А господин Евразиец в один миг превратился из тихого никчемного человечка в расчетливого и похотливого злодея, который держал нас всех на крючке, хотя нет, жизнь сложна, и даже злодеем я не имею права его называть, потому что он оплачивает наше обучение, и мы все, как выяснилось, живем за его счет, и, получается, мы не менее никчемны и расчетливы, чем он. А мои сестры и брат! Тоже хороши! Они все знали и продолжали вести себя как обычно, вместо того чтобы сделать хоть что-то, что вернуло бы ситуацию в русло приличий, хотя бы чисто внешне возмутиться, оскорбиться, высказать все в лицо матери и господину Евразийцу!

А как насчет меня самой? Способна ли я что-то поменять, добиться, чтобы мать разорвала эти порочные отношения? «Может, мне следует уйти из дому, порвать с семьей, забыть о ней навсегда и жить самостоятельно?» — размышляла я. Но в этом месте мои рассуждения натыкались на очень неудобные мысли о том, как я собираюсь жить одна и где взять денег, чтобы осуществить свой благородный замысел. Прокрутив несколько раз в голове этот план, я пришла к выводу, что гораздо легче закрыть на все глаза и оставить как есть. Я с горечью и стыдом поняла, что я такая же конформистка, как мои сестры и брат. Юношество из среднего класса ведь вообще всегда склонно к конформизму.

После того разговора с Лидией я ни с кем больше не обсуждала отношения матери и господина Евразийца и ни разу не замечала, чтобы брат или сестры были настроены поднять этот вопрос. Мы все, не сговариваясь, решили, что обеспеченная жизнь стоит выше условностей. Я думала, что умру от стыда за свое жалкое приспособленчество, однако нет — я продолжала жить, как ни в чем не бывало. Кроме того, я даже иногда жалела, что не позволила Лидии рассказать мне, что именно она подслушала под дверью, когда застукала мать и господина Евразийца вместе.

Летом сорок первого года после нескольких лет ухаживаний за Анной Николя Татаров неожиданно женился на другой девушке. Это разбило сердце не только Анны, но и матери. Анна устраивала истерики, мать плакала вместе с ней и разругалась навсегда с Марией Федоровной. Но если Анна могла себе позволить сколько угодно убиваться над крушением своих надежд, матери пришлось отвлечься на новые проблемы, так как господин Евразиец сообщил ей, что положение западных экспатриантов в Китае становится слишком ненадежным, и предложил нам уехать вместе из Шанхая в Америку, куда он уже перевел часть своего бизнеса.

Мать взяла себя в руки и отодвинула трагедию с Татаровыми на задний план. Она была практичной женщиной и поняла, что нужно уезжать. Это была необходимая мера. Иностранные концессии с каждым днем приобретали все больше черт осажденной крепости. Замужество с Николя не состоялось, нельзя было потерять еще и господина Евразийца. В конце ноября сорок первого года мы стали собираться в дорогу.

Решено было ехать через Австралию, и господин Евразиец зарезервировал нам всем билеты, но в конце ноября вдруг позвонили из пароходной компании и сообщили, что придется подождать еще неделю-другую, так как на кораблях нет мест. Это был тревожный знак, которому мы все не придали особого значения.

Всю следующую неделю мы жили на чемоданах в ожидании рейса в Австралию. Это было невыразимо скучное и беспокойное время. Мы, словно узники, сидели целыми днями в квартире среди тюков и чемоданов. Вся мебель была продана. Нам некуда было идти, у нас больше не было никаких дел в городе, да и мать не разрешала отлучаться надолго, так как в любую минуту могли позвонить из агентства и сообщить, что пароход прибыл. Мать нервничала и то и дело принималась плакать, жалуясь на свою несчастную судьбу. Лидия и Анна ссорились от скуки и изводили меня придирками. Александр от нечего делать спал по двенадцать-четырнадцать часов. Единственным развлечением были старые журналы и радиоприемник. Изредка заходил господин Евразиец, и все кидались к нему с надеждой, что сейчас он объявит о прибытии парохода и скажет, что пора ехать на пристань. Но господин Евразиец каждый раз говорил, что следует еще подождать, а он заглянул лишь на пару минут, чтобы узнать, все ли в порядке, и удостовериться, что мы готовы к выходу в любую минуту.

Когда он долго не появлялся, мать, беспокойством доводя себя до исступления, заставляла нас переупаковывать вещи. Я пользовалась моментом и спрашивала, не надо ли купить еще что-нибудь в дорогу в лавке на соседней улице. Она давала мне немного денег и посылала за покупками, приказав ни в коем случае нигде не задерживаться. Я радовалась этим кратковременным отлучкам из квартиры, превратившейся в тюрьму, как маленькому празднику.

Я помню, как в один из этих дней я выхожу с покупками из лавки и медленно иду по только что выпавшему, но уже тающему снегу не в сторону нашего дома, а в противоположную. Я хочу дойти до перекрестка, прогуляться, подышать свободой, забыть на несколько минут об унылом сидении в закрытом помещении. Потом я медленно возвращаюсь. Из соседнего дома выносят мебель — соседи толи переезжают, толи собираются уезжать навсегда, как и мы.

Дверь в нашу квартиру не заперта — ее забыли закрыть, когда я уходила. Мать, брат и сестры суетятся над грудами тюков. Мать — сама энергия, но ее активность болезненная, на грани истерики. Она порывается куда-то, но спотыкается об угол большой коробки.

— Запакуй же, наконец, эту коробку, Лида! — нервно кричит она. — Господи, какие все бестолковые!

Я незаметно вхожу, стараясь не привлекать ее внимания. Но она замечает меня.

— Ирина! Где ты была так долго? Ты купила, что я велела?

— Да, мама, — говорю я, начиная раскладывать покупки на полу — стола-то нет.

Мать забывает обо мне, поворачивается к Анне:

— Анна, проверь еще раз документы. Документы — самое главное. Боже мой! Как тяжело все делать самой! — Она коротко всплакивает, но тут же берет себя в руки и снова пристает к Анне: — Проверь еще раз, чтобы ничего не пропало, не потерялось. Проверь. Оставь все и проверь.

— Десятки раз уже проверяла! — огрызается Анна, со злостью бросает тюк, который зашивала, и начинает перебирать пачку наших дорожных документов.

В такой бесцельной деятельности мы изнывали еще несколько дней. Однажды рано

утром мы все в ужасе проснулись от непрекращающихся звонков в дверь. За окнами было еще темно. В квартиру ворвался господин Евразиец и сказал, что у нас есть пять минут, чтобы собраться. Он потребовал брать с собой как можно меньше вещей — только самое необходимое.

— Как? Почему? — спросила мать, заикаясь от волнения и испуга. — Как можно бросить вещи? Что случилось, Оливер?

— Перл Харбор атакован, — кратко сказал господин Евразиец и уточнил: — Война, началась война, Элизабет.

Мы были оглушены этой новостью. Мы знали, мы предполагали, что будет война, но мы все равно не были готовы к ней.

Господин Евразиец сообщил, что на одной из пристаней находится торговое судно «Розалинда», готовое взять на борт беженцев-экспатриантов. Он договорился с капитаном, и тот уже внес нас в списки.

Мы быстро собрались. Двое китайцев, которых привел господин Евразиец, помогли нам вынести вещи и загрузить их в один из двух автомобилей, ожидавших у ворот. За рулем машин были господин Евразиец и подручный китаец.

Пока мы ехали, господин Евразиец шепнул матери, что взнос за пропуск на судно составляет пятьсот долларов за человека, это огромные деньги. Услышав, какую сумму он уплатил за нас, мы вдруг в один миг осознали, как на самом деле богат и влиятелен этот невзрачный человечек, похожий на школьного учителя.

Часть вещей все же пришлось бросить, так как для них не хватило места в автомобилях. Мать не могла с этим смириться и тихо причитала, пока мы ехали к пристани. Однако когда мы добрались туда, где стояло судно, мы поняли, что придется оставить еще половину багажа. К небольшому невзрачному кораблю, качающемуся на волнах, вели длинные узкие мостки, сделанные из деревянных настилов, наброшенных на торчавшие из воды сваи. По ним можно было пройти лишь один раз, потому что время поджимало и ни толпа на пристани, ни капитан не позволили бы пассажиру сделать второй заход. Тот, кто собирался подняться на борт, мог пронести только то, что держал в руках.

Площадка у сходней была оцеплена вооруженными членами команды. У импровизированного пропускного пункта собралось огромное количество людей с горами чемоданов и ящиков.

Другой подручный господина Евразийца уже ждал нас на пристани. Он и господин Евразиец проложили нам путь к месту в очереди тех, кто оплатил проезд и попал в список. Мы старались держаться в давке как можно ближе друг к другу. Мы стояли среди взбудораженной толпы и вдруг поняли, что вокруг полно людей, которые не попали в списки, и они либо не знают, что такие списки существуют, либо знают, но все равно надеются, что их возьмут на борт. Это было страшное открытие. Оказалось, даже громадные деньги, которые заплатил за нас господин Евразиец, не гарантировали попадания на судно — ибо в любой момент кто-то более агрессивный и сильный мог оттереть нас и занять наши места.

Господин Евразиец, мать и Александр — впереди. Еще когда господин Евразиец рассчитывался у автомобиля с китайцем, который держал ему место в очереди, мать распределила между нами, кому какие вещи нести. Александр должен помогать господину Евразийцу втаскивать на корабль самые тяжелые тюки. Анна и мать держат за ручки большой чемодан. У меня и у Лидии в руках несколько узлов из сшитых вместе простыней;

когда я устаю держать свои узлы на весу, я ставлю их на землю, но ненадолго, потому что очередь движется непредсказуемо и, если я зазеваюсь, их растопчут и запинают те, кто подступает сзади.

Во время передышки, когда я освобождаю руки, я стараюсь осмотреться. За нами стоят мужчина и женщина, по-видимому, муж и жена. Женщина держит в руках чемоданы, мужчина крепко сжимает ручки инвалидного кресла, в котором сидит сгорбленная старуха. За ними я различаю женщину, которая держит в руках мелкую собачонку — это ее единственный груз. У собачонки и у старухи в кресле одинаково испуганный взгляд.

Мать впереди все время тревожно оглядывается на нас с Лидией.

— Стойте вместе! — кричит она нам. — Лидия, возьми Ирку за руку. Не отпускай ее от себя.

Лидия фыркает.

— Как я возьму ее за руку, мама? У меня только две руки — и те заняты.

Наконец мы добираемся до площадки, где человек с судна проверяет документы и сверяет их со списком. Я напряженно смотрю вперед: господин Евразиец предъявляет свои бумаги человеку, проверяющему документы, потом, указывая на нас, что-то говорит. Человек со списком кивает, делает знак, чтобы мы проходили.

Господин Евразиец и Александр тащат по деревянным мосткам наш багаж. За ними мать и Анна, напрягая все силы, волочат большой чемодан. Затем приходит очередь Лидии вступить на длинную деревянную дорожку к судну. Я немного замешкалась — один из моих узлов развязался, и несколько предметов выпало наружу. Я торопливо собираю содержимое. Лидия, отойдя немного, оборачивается, обеспокоенно глядя на меня.

— Эй, что у тебя там? Побыстрее, поторопись, — говорит она.

Это были последние слова члена моей семьи, которые я услышала, прежде чем расстаться с родными навсегда. Самые последние слова. Я много раз рефлексировала над ними впоследствии, вкладывала в них то одно, то другое значение, но так и не разгадала их сакральный смысл. А ведь сакральность непременно должна была присутствовать — это же были последние слова перед расставанием.

Тем временем я еще немного отстаю в очереди, а Лидия со своими узлами уже далеко. Рядом со мной человек с «Розалинды» уже проверяет бумаги семьи с инвалидным креслом и дает им разрешение продвигаться. Мужчина завозит кресло на деревянные мостки, но тут вдруг что-то идет не так: то ли сдвигается настил, то ли съезжает колесо — и кресло, накренившись, начинает медленно падать. Мужчина отчаянно пытается удержать то кресло, то старуху, беспомощно сползающую с него. Его жена вскрикивает, роняет вещи и бросается всем телом на вторую половину кресла, чтобы своим весом хотя бы затормозить падение.

Мужчина со списком вовремя поспевает им на помощь. Кресло благополучно вытягивают на деревянный настил, но становится ясно, что катить его слишком опасно — его можно только нести.

Толпа за моей спиной начинает волноваться сильнее.

— Ты постой тут за меня, Гарри. Придется мне тащить эту старую каргу. Почти всех своих уже взяли, смотри лишних не бери, — говорит мужчина со списком другому члену команды. Он сует ему список и подхватывает кресло сзади, помогая родственнику старухи продвигаться к кораблю.

Гарри быстро просматривает список. Женщина с собачонкой предъявляет ему свои бумаги, он кивает и пропускает ее. Я собираюсь пройти за ней, но Гарри вдруг

останавливает меня, грубо хватая за плечо.

— Эй, вы кто, барышня? — спрашивает он меня.

— Я Ирэн Коул. Семья Коул. Я есть в списке, — объясняю, растерявшись, я.

Гарри опять смотрит в список.

— Коул уже на борту, — заявляет он.

— Но как же?.. Я… Я задержалась… Я…

— У вас есть документы? — перебивает он. И оттирает меня в сторону, начиная проверять по списку других людей из очереди.

Я принимаюсь лихорадочно рыться в вещах в поисках своих бумаг, опять развязываю узел. Меня толкают и пинают со всех сторон, но я не замечаю этого. Паспорта нигде нет. Тут я вспоминаю, что он, кажется, остался у Анны вместе с остальными документами. Но Анна уже на корабле. Все наши уже на корабле.

Сразу после женщины с собачкой на сходни вступают несколько человек, тянущих с собой громоздкие предметы. Из-за этого продвижение очереди опять тормозится, и перепуганная задержкой толпа наседает все сильней. Среди беженцев молниеносно проносится слух, что погрузка заканчивается, и люди начинают паниковать. В полном замешательстве я делаю попытки снова приблизиться к Гарри, чтобы объяснить, что произошло, но меня отталкивают все дальше и дальше от пропускного пункта. Чтобы добраться до Гарри, мне нужно тоже изо всех сил толкать и пинать всех на своем пути, а я совершенно не в состоянии это делать. Я не умею это делать. Мне всегда было легче уступить, чем кого-то намеренно толкнуть.

Меня вытесняют за ограждение, где я и стою в растерянности, время от времени отшатываясь от наплыва людей.

Вооруженные моряки едва сдерживают теряющих голову беженцев. Я вижу, как Гарри делает знаки в сторону лодки, которая дрейфует рядом с мостками. Лодка быстро подплывает. Пока Гарри и другие люди с судна запрыгивают на корму, двое моряков на носу лодки ловко подхватывают и сталкивают вниз фрагмент деревянного настила, так, чтобы перерезать путь к судну обезумевшим беженцам. Затем лодка уходит к судну.

Толпа продолжает наседать. Люди сзади не видят, что проход невозможен, и продолжают напирать на тех, кто впереди. Двух-трех человек выдавливают в проем между сваями. Наблюдая за этой сценой, я воочию убеждаюсь, что моя обычная податливость и неспособность к сопротивлению в первый раз в жизни сыграли мне на руку и уберегли от смерти или увечья: ведь если бы я, проявив настойчивость, сумела пробиться к тому месту, где стоял Гарри, меня бы сейчас тоже снесло в ледяную воду.

Но эта мысль не задерживается у меня в голове. Я стою и, отупев от растерянности, смотрю на «Розалинду», качающуюся уже довольно далеко от берега.

«Эй, постойте, а как же я? Вы забыли меня! Вернитесь!» — ошеломленно бормочу я, но шум толпы полностью перекрывает мой голос, и я замолкаю, понимая, что в этом нет смысла. И просто стою в глупой надежде, что сейчас что-то произойдет, возможно, мать и господин Евразиец уговорят и подкупят капитана и меня каким-то чудесным образом возьмут на борт. Умом я понимаю, что это конец и у меня уже нет никаких шансов попасть на корабль, но эмоционально я еще не способна реагировать на катастрофу.

«Розалинда» ушла. С нее доносились чьи-то бессвязные крики, может быть, это кричала мать. Я стояла и наблюдала, как судно медленно удаляется, еще не понимая, что его уход навсегда изменил мою жизнь.

Глава 5

К вечеру я вернулась во Французскую концессию. Я совершенно выбилась из сил, добираясь до нашего дома из неизвестной мне части Шанхая. Я несколько раз забредала не в ту сторону, потому что плохо понимала китайцев, объяснявших мне дорогу. Я приволокла с собой обратно узлы с вещами. Они промокли и потемнели от грязи, и, как ни тяжело мне было их тащить, я ни за что не хотела их бросать, так как это было теперь мое единственное имущество.

Дверь в квартиру была открыта — ее не заперли в спешке. В округе, похоже, как-то узнали о нашем отъезде, и кто-то уже наведался, потому что большая часть брошенных нами вещей была вынесена, а оставшиеся валялись как попало. Но наша аренда истекала только в конце декабря, и, значит, на некоторое время у меня была крыша над головой.

Я бросила узлы у входа и просто упала на них ничком в полном изнеможении. От усталости и шока у меня не было никаких мыслей, не было даже эмоций. Я заснула, не позаботившись запереть входную дверь.

Спала я, видимо, долго. Вдруг дверь отворилась, и я с замирающим сердцем увидела, как входят мама, брат и сестры, таща за собой тюки и чемоданы.

Я радостно бросаюсь к ним.

— Я знала, что вы все вернетесь! — кричу я в ликовании.

— Ира! Ирина! Ну наконец ты нашлась! Ах, как мы переживали!.. — наперебой кричат Александр и Лидия, бросаясь ко мне.

— Ну и хлопот ты нам задала! — мрачно тянет Анна. — Нам пришлось сойти на берег… Господин Евразиец потратил из-за тебя целое состояние…

— Ох, слава Богу, слава Богу, нашлась, наконец нашлась деточка моя… — восклицает мать, пыхтя и охая от слишком быстрой ходьбы.

Я облегченно вздыхаю. Страшное приключение закончилось, ужас одиночества позади!

— Раз уж мы никуда из-за тебя не уехали, нужно поторопиться, чтобы хорошенько приготовиться к празднику, — вдруг говорит мать странным, немного раздраженным тоном.

Меня удивляет, что ее настроение так резко изменилось. Я совершенно не понимаю, о каком празднике она говорит.

— Праздник? О чем ты, мама?

Мать, больше не замечая меня, хлопает в ладоши и командует:

— Побыстрее, девочки, Александр, поторопитесь! Сегодня у Ирины совершеннолетие!.. Приготовьте все как следует! Все-таки у нас приличный дом… Мы все должны сделать, как положено… Быстрее, быстрее, ну же!..

Я с изумлением вижу, как у матери, брата и сестер в руках возникают какие-то предметы, похожие на подарки ко дню рождения, — торт, свечи, какие-то красивые коробки. Они деловито начинают раскладывать эти вещи на видных местах. Они совсем не обращают внимания на меня, как бы кружатся вокруг меня в странном безумном хороводе. Осознавая, что происходит что-то ненормальное, я прихожу в ужас, пытаюсь их остановить, пытаюсь обратиться к каждому с просьбой перестать меня пугать, но голос мне не подчиняется. Мое горло сковали спазмы рыданий.

— Дети, нам пора идти, — говорит мать тем же странным отчужденным тоном. — Ирина теперь обойдется без нас…

Мать, брат и сестры плавно обходят меня и вереницей, не оглядываясь, покидают квартиру. Я, задыхаясь от слез, мечусь, пытаясь их остановить — и просыпаюсь, частично успевая услышать саму себя, когда, плача во сне, по-русски и по-английски умоляю своих родных остаться:

— Мама!.. Мамочка!.. Не надо!.. Пожалуйста, не надо… Куда же вы?..

В пустой квартире темно. Я села на узлах и стала вытирать ладонями мокрые глаза. Я не знала, что делать дальше. Я боялась заснуть, потому что боялась нового кошмара, и мне так же страшно было бодрствовать, потому что реальность — это кошмар наяву. Я казалась себе самым жалким и нелепым человеком на земле. Разве не нелепо было с моей стороны не успеть вовремя подняться на борт «Розалинды»? Мне хотелось исчезнуть, умереть. Мне было холодно и страшно.

Через некоторое время я кое-как стряхнула с себя оцепенелую обреченность, включила свет и принялась проверять, что находится в тюках, которые я притащила с пристани. Там обнаружилось немного булочек и фруктов, при виде которых я вспомнила, что страшно голодна. Еда немного приободрила меня. Я начала отбирать из вещей те, которые должны пригодиться мне в первое время, и строить планы, как жить в мире, где для меня нет места.

В юности многие беды кажутся преодолимыми. На следующее утро я начала искать способы выжить — до тех пор пока мои родные не вернутся и не заберут меня. Я не сомневалась, что нужно лишь недолго продержаться — и все будет как прежде.

Я привела себя в порядок, насколько это было возможно в моих жалких условиях, и стала обходить наших русских знакомых с просьбой если не приютить, то хоть чем-нибудь помочь мне. У меня было три адреса, куда я могла обратиться: одной богомольной русской старушки, с которой дружила мать, семьи конторщика, которому мать однажды помогла собрать деньги на лечение ребенка, и своей школьной подруги.

Старушка-богомолка выпроводила меня сразу, как только узнала, что случилось. Она быстро сообразила, что к чему, и не захотела связываться. Правда, она усиленно крестила меня, когда вела к дверям, сердечно желала, чтобы мои невзгоды поскорей прошли, и сунула булочку на дорогу. Как ни горько мне было, от булочки я не смогла отказаться. Конторщик даже не пустил меня в квартиру. Он подозрительно смерил меня взглядом с головы до ног, выслушал и кратко отказал в помощи прямо на пороге. По адресу семьи школьной подруги проживали теперь какие-то другие люди, которые не знали, куда переехали предыдущие жильцы.

Исчерпав все свои знакомства, растрепанная, измученная и голодная, я бесцельно стояла на улице с оттягивавшими руки вещами — их приходилось носить с собой, потому что иначе их могли украсть — и размышляла, не стоит ли поискать помощи у Татаровых, даже несмотря на то, что мать и Мария Федоровна стали врагами после женитьбы Николя. Я больше не знала никаких других возможностей. Если и Мария Федоровна откажет, думала я в отчаянии, то, скорее всего, я кончу тем, что свалюсь и умру от истощения где-нибудь на улице или начну торговать своим телом за кусок хлеба, как делали многие нищие белоэмигрантки.

Китаец, наблюдавший за мной из лавки напротив, вышел и сунул мне из жалости лепешку. Когда я ее съела, в голове немного прояснилось. Я вспомнила, что на улице Жофр находился женский католический монастырь, и решила обратиться к монахиням.

В монастыре меня накормили и дали адреса миссионерских обществ Шанхая с советом поискать там работу. На следующий день я стала обивать пороги больниц и религиозных

общин. Довольно скоро мне повезло: миссис Янг, руководившая больницей при Южной баптистской миссии, выслушала мою историю, долго о чем-то размышляла, оценивающе глядя на меня, а потом коротко сообщила, что она готова предоставить мне еду и жилье за услуги в качестве уборщицы и прачки. Миссис Янг была женщина властная и немногословная, предпочитавшая держать подчиненных на расстоянии, поэтому я так никогда и не узнала, что побудило ее помочь мне: сочувствие юному существу, оставшемуся без крова на грани гибели, холодное исполнение христианского долга или просто расчетливое желание иметь бесплатную работницу, которой было удобно давать указания, так как она понимала по-английски.

Впрочем, по части расчетливости — если таковая имела место — я не уступила бы миссис Янг. Я вела себя отнюдь не как образцовая «дева в беде», благородная, доверчивая и наивная. Когда миссис Янг оглядывала меня с ног до головы, чтобы выяснить, с кем имеет дело, я, с тревогой ожидая ее решения, изо всех сил старалась выглядеть как можно более несчастной и жалкой, словно какая-нибудь попрошайка или нищенка, которая пытается разжалобить потенциального благодетеля, и, если понадобится, готова была униженно умолять ее оставить меня при миссии. Однако миссис Янг обладала солидным жизненным опытом, чтобы составить представление о моих несчастьях и без моих жалких актерских ужимок; ей было достаточно взгляда на мое осунувшееся лицо, спутавшиеся волосы и измятую одежду.

В любом случае, какими бы мотивами с обеих сторон ни было обусловлено милостивое разрешение миссис Янг на мое проживание при баптистской больнице, для меня это была огромная удача. В противном случае я, скорее всего, очень быстро угодила бы на панель.

Жизнь при больнице была суровой. Я так уставала в первые дни, что часто засыпала одетой, потому что не было сил раздеться. Работать приходилось посменно, перерывы предполагались только для приема пищи и сна. Еда была однообразной, и часто мой обед состоял из миски риса, приправленного щепоткой корицы. Мне выделили место в общежитии. С жившими при больнице простыми бедными китаянками я мало общалась, а белый персонал не обращал на меня внимания, кроме тех случаев, когда нужно было отчитать меня за что-нибудь. Свободного времени не было, если не считать короткие паузы между заданиями и часы затишья во время ночных дежурств. Целыми днями и ночами я только и делала, что драила полы и стены в коридорах и палатах, сортировала и стирала грязные бинты и выполняла другую грязную работу. Но мне не приходило в голову жаловаться на тяжелые условия. Жизнь была, конечно, несладкой, но она была все же гораздо лучше, чем жизнь на улице. И ведь это ненадолго, так что можно и потерпеть, успокаивала я себя, ведь через несколько месяцев война кончится, мама и все вернутся, и все будет как прежде.

Через несколько недель в моей внешности произошли первые преобразования, повлеченные самостоятельной жизнью. Женственность была безжалостно отвергнута ради функциональности. В движениях стало меньше мягкости, но больше точности. Длинные волосы были обрезаны без лишних раздумий. На голове появилась косынка, повязанная наподобие банданы. Я стала одеваться в мужскую одежду и выглядела теперь, как мальчик-подросток.

Когда японцы проводили регистрацию белого населения Шанхая, я честно предоставила властям все сведения о себе и рассказала свою историю как есть. Позднее всем гражданам «враждебных стран» было предписано носить нарукавные повязки со

специальными знаками, и тут оказалось, что я не подпадаю под это распоряжение, потому что была зарегистрирована японцами как «незаконнорожденная дочь русской эмигрантки, покинувшей Шанхай со своим любовником-англичанином». Я так никогда и не узнала, зачем миссис Янг убедила японцев в этой версии моего происхождения. То ли она хотела уберечь меня от дальнейших гонений, то ли просто не могла внутренне согласиться с тем, что такое жалкое потерянное существо, как я, лепечущее по-английски с прорывающимся русским акцентом, имело равные с ней права на полноценное американское гражданство.

Самыми счастливыми часами того времени были ночные дежурства. В мои обязанности входила уборка нескольких административных офисов, среди которых был кабинет миссис Янг. Я приходила туда после того, как переделывала все обычные работы. Если справиться с уборкой быстро, то останется немного времени, чтобы включить радио и поискать сообщения о военных действиях. Так как в моем сознании возвращение семьи было тесно связано с завершением войны, можно представить, как жадно я искала такие новости. Но это был тысяча девятьсот сорок второй год, и войне конца-края не было.

Кабинет был полностью в моем распоряжении до начала утренних дежурств. Он был моей тихой гаванью, моим тайным оазисом недолгого комфорта в конце ночной смены. Он напоминал о доме и о жизни без войны. В нем были роскошный кожаный диван и большой письменный стол: на диване можно было лежать, слушая радио, а стол был похож на стол в кабинете моего отца. И еще — радиоприемник. Радиоприемник был моей связью с миром.

Я искала в нем англоязычные новости о ходе войны. Найти их было трудно, и приходилось постоянно корректировать настройку, так как нужная волна самопроизвольно ускользала. Английская речь успокаивала меня. Казалось, что там, где-то далеко, откуда доносятся эти голоса, находятся моя мать и все остальные, и с ними все в порядке, и они помнят обо мне, и при первой же возможности готовы вернуться и окружить меня заботой, забрать меня из внезапно сделавшегося чужим Шанхая куда-то туда, в нормальную счастливую жизнь.

Новости о войне, тем не менее, были неутешительные. Ведь это был сорок второй год. Но я помню точно, что это были счастливые часы. Откуда было взяться ощущению счастья, я не знаю. Наверное, счастье создавалось надеждой юного существа.

Я помню, как чувство счастья охватывало меня каждый раз, когда я входила в кабинет миссис Янг и включала красивую бронзовую лампу на столе. Затем я настраивала радиоприемник на какую-нибудь музыку. Музыка была для меня невообразимой роскошью в те времена. В Средние века богатые люди поглощали пищу под музицирование — я же под звуки музыки убирала кабинет миссис Янг.

Вот с уборкой покончено, я устраиваюсь рядом с радио на диване миссис Янг и начинаю крутить настройку, чтобы поймать новости. Я старательно вслушиваюсь в малоизвестные географические названия и страшно жалею, что у меня нет карты, чтобы проследить продвижение войск.

— Войска противника захватили… Войска захватили… — повторяю я вслед за диктором, пытаясь представить, где находится захваченное противником место. — Нет, так не пойдет… Они все время отступают! Когда же они начнут наступать?..

Армии Альянса продувают одно сражение за другим. Это означает, что победа будет не скоро и мое воссоединение с семьей снова откладывается. Меня это очень расстраивает.

Я встаю с дивана и подхожу к окну. За окном — ночь, дождь, стекающие струи, отблески капель. Я вижу свое отражение: наивное, грустное, полудетское лицо. Я пытаюсь

разглядеть ночное пространство за окном, потом прислоняюсь лбом к холодному стеклу.

— Мамочка, когда же ты вернешься?.. Когда же все наконец вернутся? Когда все будет как прежде? — вздыхаю я.

Глупая белая девушка из семьи среднего класса, которая еще не догадывается, что ничего уже не будет, как прежде.

Затем я вспоминаю, что должна еще протереть бронзовые безделушки на столе, иначе получу нагоняй от миссис Янг. Я наскоро перевязываю бандану и возвращаюсь к своей работе.

Глава 6

Я прожила при баптистской больнице до начала сорок третьего года — пока не наступил второй этап интернирования граждан стран, воюющих с Японией. В этот раз японцы взялись всерьез за оставшиеся в Шанхае религиозные общины и благотворительные миссии.

Однажды я вернулась из города, куда ходила по поручению, и застала всю больницу перевернутой вверх дном. Во дворе стояли грузовики. Пациенты были брошены на произвол судьбы, китайские работники исчезли, а американский персонал суетился, собирая личные вещи, под присмотром японских солдат.

Перепуганная, я начала было собираться в лагерь вместе с остальными, но очень быстро выяснилось, что по японским спискам я числюсь не американкой, а русской. Японцы позволили мне забрать пожитки и практически вытолкали вон.

Я растерянно стояла на улице с охапкой вещей, наспех завернутых в одеяло. Я смотрела издалека, как медсестры и врачи бредут к грузовикам. Моя грозная начальница, миссис Янг, неловко карабкавшаяся в кузов, когда ее подтолкнул, поторапливая, один из японцев, выглядела совсем не страшной и даже немного жалкой.

Грузовики стали отъезжать. Я побрела прочь от больницы, сама не зная куда. Мне снова надо было искать пристанище. Я бы предпочла лагерь бездомности.

Впрочем, целый год самостоятельной жизни не прошел даром и нанес сильный удар по моей буржуазной щепетильности. Я уже немного научилась пренебрегать условностями. Я пошла просить помощи у Татаровых. В конце концов, моя мать помогала их семье в трудное время — почему бы им не помочь мне, ее дочери? В своей прошлой жизни — до ухода «Розалинды» — я без колебаний отказалась бы обращаться с любыми просьбами к людям, чей сын предположительно должен был жениться на моей старшей сестре, но так и не женился, — но то было до ухода «Розалинды», когда мир был другим и мое место в нем еще позволяло мне задаваться вопросами приличий.

Справедливости ради следует отметить, что я пошла к Татаровым после того, как провела полночи на ступеньках небольшого спуска к реке. Это был грузовой спуск — без парапета, со ступеньками, не доходящими до уровня воды. Заснув на куче своей одежды, я склонялась все ниже и ниже к обрыву лестницы, пока какой-то прохожий не заметил меня и не разбудил до того, как я свалилась в воду.

Дворник Татаровых открыл передо мной дверь в особняк. Он знал меня, видел раньше, когда я бывала здесь в гостях. Теперь он разглядывал меня с сомнением, колебался, впускать или нет — но все же впустил.

Я пошла к дому через сад. Странно было видеть, что это место совсем не затронуто войной. Наоборот, в усадьбе были разные улучшения. Я вспомнила, что господин Евразиец как-то вскользь обмолвился, что война многих разоряет, но некоторых обогащает. Татаровы, видно, принадлежали к группе «некоторых».

Дверь в дом открыла юная — моего возраста — горничная с живым наблюдательным взглядом. Это была новая горничная, я ее не видела раньше. Я по-русски назвала свое имя и сказала, что пришла к Марии Федоровне.

— Пройдемте со мной, мадемуазель, — ответила по-русски горничная и повела меня в гостиную.

Я видела, что она то и дело зыркает в мою сторону.

— Подождите здесь немного, — сказала она. — Я доложу.

Она, похоже, хотела что-то спросить, но передумала
и вышла.

Мария Федоровна явилась довольно скоро.

Она с некоторой опаской вошла в комнату и настороженно вгляделась в меня с порога, не зная, чего следует ожидать от моего появления. Потом она подошла и всплеснула руками.

— Ирэн! Девочка моя! Что это? В таком виде! Боже мой! Что случилось?..

Воодушевленная сочувствием, я приободрилась и начала оживленно рассказывать свою историю, не обращая внимания на беспокойные взгляды, которыми то и дело окидывала меня Мария Федоровна.

Она ни разу не перебила меня и долго молчала, когда я закончила, — это был плохой знак. Но мне было нечего терять, и я прямо сказала ей, что мне некуда идти после того, как японцы разогнали баптистский госпиталь.

— Не можете ли вы помочь мне чем-нибудь, Мария Федоровна? — сказала я. — Вы ведь были с мамой подругами…

Мария Федоровна сделала беспомощную попытку что-то сказать, но ей это не удалось. Было видно, что она никак не может взять нужный тон для такой деликатной ситуации.

— Очень печально, что так получилось… Бедная Лиза, представляю, в каком она состоянии… — пробормотала она.

— Мне неудобно беспокоить вас, но я осталась совсем одна. Я не знаю, к кому обратиться. Я ночевала на улице сегодня.

Это был мой последний аргумент. Если и эти слова не смогут побудить Марию Федоровну что-то сделать для меня, то что вообще могло бы воззвать к ее чувству человечности?

Мария Федоровна, видимо, приняла какое-то решение и слегка оживилась.

— Погоди-ка… Погоди… Да, дорогая, — твое положение непростое… Дай подумать… — Она помолчала, а потом с видом человека, которому пришла в голову отличная идея, воскликнула: — А, вот что!.. Кажется, я знаю, что тебе нужно сделать!.. Есть отличный выход!.. Подожди-ка…. Я сейчас…

Она быстро вышла. В ее внезапном оживлении было что-то фальшивое, но я, помня о том, что манерам Марии Федоровны вообще свойственна аффектация, еще не оставляла надежды, что мне здесь помогут.

Мария Федоровна вернулась. В руках у нее был ворох каких-то бумаг. Она с торжествующим видом протянула их мне.

— Вот, возьми. Тут есть адреса благотворительных общин. Это то, что нужно, они тебе наверняка пригодятся. Там тебе обязательно помогут, тебе там не дадут пропасть. Надо же, какое несчастье! Ну кто бы мог подумать, что так случится!

Я недоуменно рассматривала то, что она мне сунула. Это были старые миссионерские листовки.

— С-спасибо, мадам, но…

Я хотела было объяснить Марии Федоровне, что эти адреса уже не могли пригодиться мне, потому что в Шанхае сорок третьего года не осталось никаких видов западной благотворительности, но она продолжала говорить быстро и настойчиво, не давая мне ни единой возможности вставить слово.

— Да, тяжелое сейчас положение… Но не только тебе одной тяжело, деточка… Если подумать — сколько сейчас нуждающихся — боже мой, боже мой!.. Как жаль людей! Но ты, девочка моя, главное, не стесняйся, в наше время человеку не дадут пропасть!.. Сейчас не то, что раньше, — столько всяких есть благотворительных учреждений!..

Продолжая говорить что-то еще с большой теплотой в голосе, она взяла меня под локоть и слегка потянула к двери. Я поняла, что здесь мне никто не поможет и нужно уходить.

— Кажется, Лиза очень дружила с Новиковыми — очень приличные люди, муж служит в охране, — почему бы к ним не обратиться?

Я что-то вяло пробормотала. Я была так подавлена, что у меня не оставалось сил объяснить Марии Федоровне, что Новиковы закрыли передо мной дверь еще в декабре сорок первого.

Мария Федоровна очень обрадовалась, восприняв мое бормотание как согласие с ее советом.

— Ну вот видишь! Значит, все в порядке! У тебя обязательно все утрясется. Главное — не падать духом.

На всякий случай она не отпускала мой локоть, пока мы не оказались за пределами гостиной. Распахивая дверь, Мария Федоровна чуть не сбила юную горничную, которая открыла мне дверь, — та то ли подслушивала, то ли собиралась входить.

— Вера, проводите барышню, — приказала Мария Федоровна.

Горничная слегка поклонилась. Мария Федоровна повернулась ко мне.

— Обещай не пропадать, Ирочка. В случае чего — сразу приходи, хорошо?

Она легко приобняла меня, ласково кивнула на прощанье, стараясь не смотреть мне в лицо, и быстро скрылась за дверями гостиной.

Я побрела к выходу, с тоской думая, что Мария Федоровна могла хотя бы дать мне на дорогу булочку, как сделала, выставляя меня за порог в прошлом году, сердобольная приятельница моей матери.

— Сюда, мадемуазель, — сказала горничная, которой было велено проводить меня: она думала, что мне неизвестны лабиринты татаровского особняка.

Она следовала за мной в почтительном отдалении; поглощенная своими проблемами, я не обращала на нее внимания. Когда мы оказались далеко от гостиной и никто из посторонних не мог нас слышать, она осторожно заговорила со мной.

— Эй… слушай… Тебе ведь нужны жилье и работа в Шанхае, я правильно поняла?.. — сказала она, быстро оглядываясь, чтобы убедиться, что рядом никого нет.

Я остановилась и обернулась к ней.

— Э-э… да. А что?

Значит, горничная действительно подслушивала под дверями гостиной и теперь откровенно нарушала предписанные ей правила поведения, обращаясь ко мне так бесцеремонно, а я нарушала правила поведения, предписанные гостям, — но какое мне до этого дело, если уже целый мир отказался помочь мне выжить до возвращения моей семьи?

Она затараторила быстрой скороговоркой, то и дело оглядываясь:

— Я-я, похоже, знаю, как тебе помочь. Ты умеешь танцевать?

— Да, немного.

— Отлично. Тогда слушай: как выйдешь из проезда, налево есть банк — большое здание современное, — знаешь, где это?

— Да.

— Ну так жди меня там, я буду свободна в восемь вечера. Я знаю, как тебя пристроить! Смотри, только обязательно приходи!

Приду ли я? Еще бы! Я обязательно приду! Я прямо сейчас готова там встать и терпеливо ждать до восьми, если эта встреча даст мне хоть малейшую надежду на работу и крышу над головой.

Через помещение прошел кто-то из слуг, горничная мигом приняла официальный вид.

— Вон туда, мадемуазель… — И, подмигнув, добавила заговорщицким шепотом: — смотри же, обязательно приходи!..

В восемь вечера я стояла под часами у банка. Завязанные в одеяло вещи лежали рядом. На меня оглядывались прохожие, но мне было все равно. Я была поглощена мыслью, придет горничная или не придет. Когда стрелка на часах переместилась на полдевятого, я стала успокаивать себя тем, что девушка, наверное, задержалась из-за какого-нибудь вздорного поручения Марии Федоровны.

В девять вечера я попыталась убедить себя, что та девушка просто зло пошутила надо мной. Зачем она так поступила, думала я, ведь она выглядела такой милой и я не сделала ей ничего плохого. Но идти все равно было некуда, и надежда не хотела умирать — и я продолжала бесцельно стоять под часами и ждать уже вопреки очевидности.

Она появилась в начале десятого — беззаботно выпорхнула из переулка, огляделась и, увидев меня, подлетела ко мне. Я смотрела на нее, как на привидение.

— О, замечательно — ты дождалась! Молодец! Эта старуха меня задержала. Я уж думала, ты ушла! — воскликнула она, дружелюбно схватив и пожав мне руку.

Она увлекла меня за собой; я едва успела схватить свои вещи.

— Куда мы идем?

— Ко мне домой! Это недалеко. Пойдем, пойдем, я тебе все расскажу! Хочешь есть? Я украла в кухне вот это. — Она достала из сумки два яблока и вручила одно мне. — Голодная небось? Виду тебя ужасный.

— Спасибо… но послушай…

Она, не слушая, энергично тащила меня за собой, продолжая говорить без умолку:

— Меня зовут Вера. Вера Ивицкая. Я из Харбина. Знаешь Харбин? Там много русских — почти русский город. Но при японцах там стало тяжело… Мама умерла, отец перебрался к сестре, а я — сюда. А ты из Шанхая? Тебя зовут Ирина?

— Айрини, — сказала я, вдруг вспомнив, как однажды в детстве отец назвал меня так.

Никогда никто из домашних не звал меня Айрини. Но теперь у моего существования не было никаких основ, моя жизнь ничего не значила, ни как жизнь Ирэн Коул, ни как жизнь просто живого существа, — так почему бы мне немного не побыть загадочной Айрини в этой безумной перевернутой системе координат?

— Айрини? О, как романтично! Это так по-иностранному! У тебя в самом деле американское гражданство?

— Да.

— А почему ты не носишь повязку с буквами?

— Потому что не хочу, — хмуро ответила я.

— И правильно, не носи. Ты говоришь по-русски, почему бы не сказаться русской? К русским японцы не привязываются.

Я призналась, что хотя и понимаю по-русски, но говорю с большим напряжением сил, и спросила в свою очередь, понимает ли она по-английски или по-французски.

— Конечно! — воскликнула она. — Я закончила гимназию в Харбине. По-английски я, правда, говорю хуже, чем по-французски, но понимаю почти все. Если тебе трудно по-русски, говори по-английски — я пойму.

Я с облегчением перешла на английский и убедилась, что Вера действительно понимает меня. С этого момента наше общение проходило на забавной смеси русского и английского.

Пока мы шли, она продолжала щебетать, рассказывая, как устраивалась в Шанхае. Я не переставала поражаться этой девушке. Мы были с ней примерно одного возраста и примерно в одинаковых обстоятельствах — одни в чужом городе. Но она, прибыв сюда из Харбина, ухитрилась найти работу и комнату и стать по-настоящему самостоятельной, а я продолжала бесконечно балансировать на грани гибели.

— А вот мы и пришли почти… Вон там… Там у меня комната!..

Я посмотрела туда, куда указала Вера, — это был унылый пятиэтажный дом, похожий на барак.

Мы стали подниматься по внешней железной лестнице.

— С комнатой мне повезло! Папины знакомые сдают за копейки. С отдельным входом — разве не красота? И можно в какое угодно время приглашать гостей!..

— Да, — с готовностью согласилась я — у меня-то ведь даже такого угла не было.

Лестница слегка пошатывалась под ногами. Я цеплялась за перила, стараясь не оступиться.

Мы поднялись на третий этаж. Вера достала ключ, открыла дверь и сделала приглашающий жест. Я вошла за ней, огляделась.

Это была узкая длинная комната, скорее всего, бывшая прихожая, приспособленная под проживание. Свет в эту каморку попадал из узкого бокового окна. У стен — кровать, стул, табуретка, тазы для умывания, переносная жаровня хибачи, сложенная ширма. На противоположной от входа стороне — тоже дверь, прижатая ящиком, накрытым скатертью и выполняющим роль стола. На еще одном ящике стояла лампа. В углу наискосок была протянута веревка, на которой сушилось белье.

— Ты здесь живешь?.. — нерешительно спросила я. Мне все еще казалось, что за этим убогим проходным помещением находится другая — более приспособленная для жилья, — настоящая комната Веры.

Вера потянулась к лампе, включила свет; мигом сбросила жакет и туфли. Ее движения были точными и быстрыми; видно было, что она давно привыкла управляться в тесноте.

— Нуда, живу, а что же? Тебе здесь не нравится?

— Нет, что ты! Нравится!.. Здесь очень… уютно…

— Да ты проходи, клади вещи. Вот — садись прямо на кровать! Только тише говори… Там, — последовал кивок на дверь, — квартира хозяйки… И представь, все так хорошо слышно! Я просто удивляюсь, как там все слышно!..

Я протиснулась между ящиками и ширмой и села на край кровати. Вера бухнулась рядом.

— Не хочу тебя обижать, но было глупо обращаться за помощью к этим Татаровым… Они мерзкие! Вся их семейка мерзкая!..

Я лишь горько хмыкнула.

— Ну, давай к делу… Вот что: я ищу партнершу по танцам — я посмотрела на тебя: ты мне совершенно подходишь!

Я открыла рот, чтобы ответить, но Вера замахала на меня рукой и заговорила еще

быстрей.

— Нет, молчи. Сперва слушай! Тебе некуда идти, правда? Вот: ты можешь жить здесь сколько угодно! — Она хлопнула ладонью по одеялу. — Я упрошу Степаниду Матвеевну, она позволит. Но за это ты будешь моей партнершей по танцам!

Партнерша по танцам. Я почти не умела танцевать и обладала ярко выраженной боязнью сцены. Но если это нужно, чтобы избежать жизни на улице…

— Хорошо, — с готовностью сказала я. — Я постараюсь. Я буду делать все, что надо.

— Прекрасно!

Вера схватила меня за руку, потянула с кровати, заставляя встать, и стала оценивающе разглядывать меня, напоминая маленькую девочку, которая восторженно разглядывает куклу в витрине.

— Ты как раз подходишь. У тебя отличная фигура. И волосы! У тебя темные волосы, а у меня светлые — это будет контраст!

— Как же мы будем выступать? — спросила я. — Нужен номер, костюмы…

— Не волнуйся, номер есть. Я сама придумала. Я тебя научу, я покажу тебе — очень просто и эффектно. Костюмы найдутся. Я знаю одну даму — она может одолжить нам драгоценности и несколько платьев.

— У тебя есть такие знакомые? — искренне удивилась я.

— А что же?! Ты думала, я просто девица в услужении? Между прочим, я поэтесса! Я не собираюсь быть всю жизнь горничной! Ты не пишешь стихи? Я посещаю русскую поэтическую студию! Я и заметки писала и была секретарем в русской газете, но она потом разорилась. Пришлось идти в горничные. Я давно хотела танцовщицей в клуб — вот только не было подходящей партнерши! Как только у нас будет номер, мы…

В запертую на засов дверь, ведущую в хозяйскую квартиру, вдруг кто-то начал биться и кричать грубым прокуренным голосом: «Верка! Вера, открой, злодейка!» Я слегка вскрикнула от неожиданности. Вера вскочила с кровати и бросилась отпирать. На пороге появилась средних лет женщина яростного вида, высокая и толстая. За открытой дверью прочертилась перспектива квартиры.

— Верка! Опять ты чайник унесла из кухни! Ухты! Женщина погрозила Вере кулаком. Она выглядела так страшно, что я подумала с перепугу, что Вере конец.

В коридоре мелькнуло еще что-то — ив комнату из-за спины женщины пролезла огромная белая собака. Она сразу же направилась ко мне и деловито стала меня обнюхивать. Я сидела ни жива ни мертва, но все же собака пугала меня меньше, чем Степанида Матвеевна.

Вера всплеснула руками, схватила стоящий на полу чайник и подала его свирепой даме.

— Простите, Степанида Матвеевна, красавица моя! Ну простите! Виновата! — льстиво заговорила она.

— Если уж утаскиваешь к себе что-нибудь так хоть дверь не запирай! Сколько раз говорила!

Вера с самым почтительным видом кивала, поддакивая. «Да, да, Степанида Матвеевна…»

Степанида Матвеевна схватила чайник, повернулась и, к моему огромному облегчению, ушла обратно в квартиру. Собака, тем не менее, осталась.

Немного подождав, Вера опять заперла дверь на засов, хитро подмигнув мне.

— Засов-то — только с этой стороны! Значит, мы к ним всегда можем пробраться, а они

к нам;— никогда! Повезло с квартирой, правда?! Завтра у меня короткий день завтра и начнем тебя натаскивать. Не волнуйся, за неделю я тебя всему научу! Господи! Наконец нашлась партнерша!

- Это твоя собака? — спросила я, страдая от навязчивого внимания животного.

Вера засмеялась.

- Это Лорд! Он живет у меня под кроватью. Одна старушка платит мне за то, чтобы он тут жил. Ее сын умер, а у нее нет сил его выгуливать. Да не бойся ты! Он добрый. Если ты будешь тут жить, тебе придется выводить его. Это будет частью платы за жилье. Не бойся, я — добрая ленд-леди, я не буду требовать много. Я уже все продумала. Спать ты будешь здесь, на полу — я достану матрас… Ну или, чтобы честно, давай спать по очереди: одну ночь на матрасе, одну — на койке.

Мы уговорились, что Вера представит меня квартирной хозяйке своей кузиной из Харбина, приехавшей искать работу. Степанида Матвеевна благоволила к Вере и хоть и выглядела грозно, но довольно быстро дала себя уговорить, чтобы я осталась жить, ничего не платя за постой, пока не подыщу место. Вместо денег она потребовала от меня разных услуг по хозяйству, таких, как мытье полов и вынос ночных горшков.

За дверью с засовом, из-за которой явилась, напугав меня в первый день, формидабельная Степанида Матвеевна, было еще несколько комнат, которые сдавались русским эмигрантам. В двух из них жили в лабиринте из ширм две семьи; в третьей — две проститутки. Помимо съемных комнат была еще просторная гостиная, которая считалась общей. По вечерам она была занята постояльцами и их детьми, но днем, когда большинство жильцов расходилось по делам, она пустовала. Именно там Вера перед тем, как уйти к Татаровым, показывала мне новые танцевальные движения, чертила мелом на полу опорные точки, и я отрабатывала их потом целый день.

Вера была удивительно артистична, танец был ее естественной стихией. Когда я пыталась повторять за ней, к моей обычной робости добавлялось еще и сковывающее чувство безнадежности от сознания, что я выгляжу особенно неуклюжей рядом с таким дарованием. Но Вера терпеливо учила меня день за днем, а я упорно повторяла расписанные по опорным точкам движения и, решив взять не мытьем, так катаньем, доводила их до автоматизма, поскольку от моей способности танцевать зависело теперь, смогу ли я выжить в дальнейшем.

Вера радовалась малейшим моим успехам и не ругала за неудачи — и этим выгодно отличалась от моих сестер, которые всегда высмеивали меня, называя слоником из посудной лавки, когда я пыталась присоединиться к их танцевальным экзерсисам под патефон.

Мы отлично ужились. Беззаботный и добродушный характер Веры позволял ей относиться ко всем трудностям с легкостью, доходящей до поверхностности, а я и всегда была покладиста в общении.

Через неделю я могла сносно танцевать. Вера уверяла, что у меня все прекрасно получается. Она взяла дополнительный выходной, и мы стали практиковаться вместе, чтобы синхронизировать движения. Перед этим Вера, имея представление о моей почти патологической застенчивости, решила, что у нас должна быть «публика», назначение которой было в том, чтобы я приучилась выступать перед живыми людьми.

Публика, которую ей удалось собрать на выступление в гостиной, состояла из двух девочек восьми и десяти лет, проститутки, страдающей похмельем, а также Су Линя — молодого образованного китайца, который ухаживал за Верой.

Мы продемонстрировали наш танец. Как и ожидалось, зрители встретили выступление добродушными аплодисментами.

— Эх, если б я была помоложе, я бы тоже пошла в танцовщицы, — вздохнула проститутка и тут же уныло добавила: — Да только не возьмут вас, девочки. Все равно ничего у вас не выйдет. В клубы очень трудно устроиться.

Вера не обратила внимания на ее слова и потащила нас с Су Линем в свою каморку.

— Ты почти не сбивалась, — похвалила она меня. — Тренируйся дальше, и будет отлично. У нас есть еще три дня.

— А вдруг нас вправду не возьмут? — сказала я, имея в виду унылое предсказание русской проститутки.

— Возьмут, — уверенно сказала Вера. — Не могут не взять. У них как раз ушли несколько девушек из состава. С одной из них я знакома. Она и сказала, что именно сейчас они ищут замену. Не думай об этом, думай о том, чтобы номер вышел хорошо. Ты уже неплохо танцуешь, главное — не запаникуй, когда мы будем на сцене. У нас красивый номер, правда ведь? — бодро спросила она по-английски Су Линя, который скромно сидел напротив нас на табурете.

— Очень красивый. Очень романтичный, — с готовностью подтвердил Су Линь.

— Вот видишь, ему понравилось. Значит, и всем остальным понравится.

Я не разделяла ее уверенности. Было похоже, что Су Линь готов подтвердить вообще все, что могло прийти Вере в голову.

— Прочитал книгу, которую я тебе дала? — спросила у него Вера.

— Не всю. Еще немного осталось дочитать.

— Су Линь учит русский, интересуется русской литературой. Мы с ним вместе посещаем поэтические семинары, — сообщила мне Вера.

— Вы пишете стихи по-русски? — изумленно спросила я Су Линя.

— Нет, нет… — Су Линь смущенно замотал головой. — Я только… э-э-э… сопровождаю мисс…

Вера засмеялась.

— Правда, он лапочка? — спросила она мне по-русски. — Это он меня научил английскому. Иначе бы я до сих пор ничего не умела сказать, кроме «вэри гуд».

После этого светского разговора мы все отправились в ближайшую кофейню, где я и Вера в первый раз за долгое время наелись досыта за счет Су Линя.

Следующие два дня я продолжала тренироваться. Вера принесла наряды и горсть драгоценностей, которые ей одолжила ее знакомая аристократка. В ворохе принесенной одежды нашлось даже боа. Мы подкололи платья булавками, которые дала нам Степанида Матвеевна, и весь вечер крутились у зеркала в гостиной под восхищенное аханье квартиранток.

— Мы выглядим, как самые элегантные дамы на свете. Теперь нам не смогут отказать. Завтра утром пойдем наниматься, — заявила Вера.

На следующий день мы, одетые с иголочки, подошли к клубу «Космополитен». Перед тем как войти, Вера остановилась, чтобы дать мне последние наставления.

— Мы просто обязаны получить ангажемент! Самое главное — держись уверенно. Бояться нам нечего — у нас есть номер! И ничего не говори! Говорить буду я! — сказала Вера.

— Хорошо.

— Что бы я ни сказала — всегда поддакивай. Если тебя о чем-нибудь спросят, отвечай обязательно по-французски.

— Почему по-французски?

— Потому что мы идем наниматься без импресарио — это дурной тон, «луз фэйс». Придется притвориться, что мы иностранки из Манилы и не знаем здешних порядков.

— Разве нельзя было попросить Су Линя изобразить импресарио?

— Ах, нет. Су Линь совершенно не умеет врать.

— Нов Маниле, кажется, говорят на испанском… или нет, на португальском… — стала вспоминать я.

— Но ты же не знаешь ни по-испански, ни по-португальски, — резонно ответила Вера.

Она сделала глубокий вдох, собираясь открыть массивную дверь, и напомнила мне еще раз:

— И улыбайся, что бы ни случилось! — Вера сделала еще один решительный вдох. — Ну — вперед!

Глава 7

Примерно через полчаса мы с Верой представляем наш номер на сцене «Космополитена». Несколько музыкантов из оркестра с равнодушными лицами исполняют аккомпанемент для нашего танца. В зале пусто и полутемно. Где-то на заднем плане работают уборщики. Управляющий клуба, элегантный, безукоризненно одетый китаец с трубкой, сидит за одним из ближних к сцене столиков и не сводит с нас изучающих глаз — так смотрят на товар на полке перед тем, как решить, купить ли его. За его спиной, поблескивая стеклами очков, стоит ассистент и тоже смотрит на нас.

Мы заканчиваем выступление. Вера, сияя улыбкой, лихо спрыгивает со сцены и подходит к управляющему. Я более осторожно следую за ней и останавливаюсь в нескольких шагах, стараясь держаться в тени.

— Этот танец называется «танцем голубых огоньков», — на неправильном, но бойком английском говорит Вера управляющему, — он пользовался большим успехом, когда мы выступали в Маниле.

Управляющий задумчиво кивает. Он переводит взгляд с Веры на меня. С его лица еще не ушло выражение покупателя, рассматривающего товар. Он что-то говорит по-китайски ассистенту и встает.

— Прошу пройти со мной в офис, леди, — говорит он нам.

Через пару минут мы с Верой сидим в глубоких кожаных креслах в офисе, управляющий — за столом напротив. Он стильно затягивается трубкой. Вера очень бойко рассказывает ему выдуманную историю нашей артистической карьеры.

— В Маниле мы выступали с сольными и парными номерами в кабаре «Парео». Нас также несколько раз приглашали в закрытые элитные клубы… Но это было еще до войны.

— До войны? Вы вышли на сцену в таком юном возрасте? — удивляется управляющий.

Вероятно, он давно раскусил нас, но считает нужным подыгрывать и делать вид, что верит россказням Веры, потому что уже решил дать нам ангажемент.

— Я и моя кузина — из театральной семьи, мы с малых лет привыкли к сцене. У нас очень большой опыт выступлений, разработаны номера, есть яркие костюмы, — врет Вера, ничуть не смущаясь. — Костюмы для «танца голубых огоньков» будут очень стильно смотреться в интерьерах клуба, правда, Айрини?

Услышав свое имя, я спохватываюсь и, не забывая улыбаться — так, что даже болят щеки, — немного испуганно поддакиваю по-французски:

— Да… это будет очень… очень элегантно…

Управляющий задумчиво затягивается. Потом откладывает трубку и переходит на деловой тон. Его английский безупречен, я могу оценить это. Вера, в отличие от меня, больше сосредотачивается на том, что именно он говорит.

— Ну что ж… Вы, наверное, знаете, мисс, что «Космополитен» считается одним из самых модных клубов в городе?

— Именно поэтому мы обратились к вам в первую очередь, — находчиво отвечает Вера.

— Мы без конца шлифуем репертуар, стараемся удивлять гостей новыми впечатляющими номерами. Вот, посмотрите, — он указывает на полку, где выставлены фото и постеры известных артистов и шоуменов, — все эти звезды выступали у нас. Мы ведем постоянную фильтрацию актеров и музыкантов — мы делаем это ради развития. Но те, кто

наиболее популярен, сотрудничают с нами на постоянной основе. Что касается вас — вы можете продемонстрировать у нас свои способности в четверг. Если выступление пройдет гладко, кроме гонорара вы получите еще и ангажемент.

Эти слова звучат для нас так, будто их провозгласил ангел с небес. Нас берут! То есть почти берут. Удача на нашей стороне.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

— Могу вас уверить, сэр, мы покажем вашим гостям настоящий класс, — еле сдерживая прилив восторга, говорит Вера.

— Не сомневаюсь. В гримерной вам подготовят места. Ждем вас в четверг.

Управляющий встает, и мы тоже поднимаемся. Он, прощаясь, пожимает нам руки и провожает к дверям офиса.

— Кстати, наш оркестр тоже из Манилы. Вам будет легче адаптироваться у нас в среде соотечественников, — сообщает он нам напоследок.

— О, это замечательно, — говорит Вера, скрывая растерянность, но не забывая улыбаться.

— Всего доброго, леди. Увидимся в четверг.

Мы с Верой говорим «до свидания» и чинно идем через холл к выходу.

Как только мы доходим до лестницы, где нас никто не видит, с нас слетает вся чинность, и мы начинаем горячо делиться впечатлениями. Вокруг никого нет, но из осторожности мы говорим полушепотом.

— Получилось! Получилось! Нас пригласили! Айрини, я тебя обожаю!.. — Вера бросается мне на шею от переполняющих ее чувств. — Смотри же, не подведи! В четверг мы должны выложиться!

— Знаешь, что-то мне страшно… Я никогда не выступала перед публикой…

Вера пугается.

— Даже не думай! Не смей бояться! Думай о том, что это твой шанс! Думай о том, что ты наконец сможешь не сидеть на хлебе с лярдом! Думай о чем хочешь, только отработай номер!

— А как же оркестранты из Манилы? Вдруг они с нами заговорят по-испански? Все узнают, что мы всё наврали…

— Наплевать! С чего вдруг им с нами заговаривать? Мы и смотреть не будем в их сторону! Просто не обращай на них внимания. Пусть считают, что мы снобки.

— И что это за «танец голубых огоньков»? Зачем ты соврала про костюмы? У нас же нет…

— А., это как-то само собой вылетело на ходу… наверное, со страху… — Вера слегка задумывается, но, оживившись, добавляет: — Не беспокойся — до четверга у нас уйма времени! Что-нибудь придумаем. У Степаниды есть машинка. Я отлично умею шить. Сделаем прелестные костюмчики к четвергу.

Вечером этого же дня Вера надолго уходит, собрав одежду и драгоценности, чтобы вернуть их владелице, а когда появляется, радостно демонстрирует мне огромную голубую скатерть-покрывало из бархата.

— Смотри, что нам подарили! Отличная вещь! Посмотри, какое качество! Тут хватит на двоих!

Я критически рассматриваю покрывало.

— Нет, на двоих вряд ли хватит… на одну только юбку уйдет около метра…

— А кто сказал, что мы будем делать юбки? — загадочно говорит Вера.

Два вечера подряд Степанида Матвеевна, Вера и я мудрим над покрывалом, прилагая разные хитрости, чтобы растянуть имеющийся материал на два костюма.

— Слава Богу, что вы обе тощи, как бродячие кошки, а то бы нипочем не хватило, — резюмирует Степанида Матвеевна.

Вера вырезает выкройки. Я сметываю. Наша хозяйка с сигаретой в зубах непрерывно строчит по бархату на швейной машинке. Закончив шить, Степанида Матвеевна передает готовую вещь Вере.

— Ну смотри, Верка, что вышло.

Вера хватает костюм, рассматривает на вытянутых руках, прикладывает к себе:

— О, наконец! Скорее мерить!

Вера, одетая в легкий голубой костюмчик — бюст и шор-тики, — кружится перед зеркалом. Мы со Степанидой разглядываем ее.

— Ну, Верка, за такое мое одолжение тебе придется месяц по утрам горшки золотарю выносить! А ну-ка повернись еще.

— Прелесть! Правда, прелесть? — восторгается Вера.

Однако я считаю, что костюм слишком открыт.

— Слишком коротко… даже до колен не доходит. Это же не совсем прилично.

— Что ты! в самый раз! То, что нужно! Легкий костюмчик для кабаре! — возмущается Вера.

— Я не знаю, решусь ли я выступать в таком.

— Ах, боже, какая ты ханжа!

Вера хватает полоску бахромы, оставшуюся от скатерти, прикладывает сзади к шортам, тем самым добавляя что-то вроде шлейфа.

— Вуаля! Можно считать, что колени прикрыты! Во всяком случае — сзади. Все очень прилично!

В четверг вечером мы стоим, волнуясь, в коридоре перед выходом на сцену клуба «Космополитен». Голос конферансье объявляет:

— А сейчас две очаровательные юные сестры Вера и Айри-ни исполнят зажигательный «танец голубых огоньков»!

Оркестр играет вступительную мелодию. Вера «надевает» улыбку, хватает меня под локоть и решительно тянет к сцене.

— Главное — улыбайся! Улыбайся все время!

Наш дебют прошел гладко. Вера танцевала более уверенно и подстраховывала меня, когда я допускала ошибки. Посетители снисходительно приняли наше выступление и больше занимались своими делами, чем смотрели на нас. В конце нашего номера кое-кто из публики аплодировал — без энтузиазма, но благодушно. И самое главное: кто-то даже бросил на сцену конверт с деньгами. Вера, сияя, посылала зрителям воздушные поцелуи; ей так нравилось находиться в центре внимания, что конферансье начал отчаянно жестикулировать из-за кулис, чтобы дать ей понять, что пора уходить.

В коридорчике за сценой нас перехватил ассистент управляющего.

— Вас ждут в административной части, пожалуйста, пройдите со мной, дамы, — вежливо сказал он и провел нас в кабинет управляющего.

Управляющий с трубкой в зубах что-то печатал на машинке за столом с таким видом, будто сидел тут безвылазно, хотя мы точно знали, что во время нашего выступления он был в

зале.

Увидев нас, он вынул трубку, встал и взял со стола конверт.

— Леди, вот ваш гонорар за вечер, — сказал он, вручая конверт Вере.

Вера приняла деньги и открыла было рот, чтобы сказать что-то в ответ, но управляющий, показывая, что ситуация полностью перешла в коммерческое русло, продолжил деловитым тоном, слегка размахивая в такт трубкой — ее он по-прежнему держал в руке:

— Ваше выступление было вполне приемлемым. Администрация считает возможным заключить с вами контракт. Мы надеемся, что вы будете продолжать работать над репертуаром и в дальнейшем сможете предложить публике новые номера. Прошу вас, ознакомьтесь с условиями контракта.

Он подал нам документы — каждой по отдельному контракту. Увидев бумаги, Вера не удержалась от того, чтобы бросить торжествующий взгляд на меня. Управляющий истолковал это переглядывание по-своему.

— Мы, разумеется, сожалеем, что не можем предложить вам более высокие гонорары. Но политика клуба такова, что это стандартные условия для всех, кто заключает с нами контракт в первый раз. Разумеется, вы имеете право оставлять себе все добровольные сборы с зала.

— Мы вполне понимаем, — сказала Вера, отлично справляясь с охватившим ее ликованием. — Мы считаемся с вашими обстоятельствами, сэр. Мы готовы сотрудничать.

Она бегло просмотрела договор, схватила ручку со стола и подписала. Я без лишних слов последовала ее примеру.

На следующий день Вера ушла с места горничной. Я отдала Степаниде Матвеевне свою первую квартплату. Мы расплатились со всеми долгами и купили еды — небывало много дорогой еды с черного рынка, — и все равно у нас осталось еще много денег. Ушла в прошлое эпоха булочек и какао в долг в соседнем кафе. Мы были в восторге и считали, что попали под крыло фортуны надолго. Мне даже стало казаться, что теперь и война должна кончиться быстрее, — ведь пережидать войну с деньгами гораздо легче, чем без денег.

Глубокая ночь. На столе лежат остатки «роскошного кутежа», которым мы праздновали нашу маленькую жизненную победу. Вера уже под одеялом, я раскладываю и застилаю матрас, отодвигая с прохода собаку, которая никак не хочет залезать под кровать. Вера вертится в постели и без умолку болтает сама с собой. Она никак не может успокоиться после дебюта.

— Конечно, у нас были небольшие ошибки, но не думаю, что на них обратили внимание. И аплодисментов было вполне. В самом деле, почему бы и не похлопать двум задорным девчонкам!

— Много аплодисментов? Ты ослеплена. Аплодисментов было мало, — возражаю я.

— Ах, ну какая ты! Считаю, все прошло очень удачно! Мы будем упорно работать и будем каждый раз получать бурю аплодисментов!.. — Вера тянется к остаткам винограда на тарелочке, отщипывает ягоду и кладет в рот. — Мы заработаем кучу денег и заведем кучу блестящих поклонников!

— А как же Су Линь? — смеюсь я.

— Одно другому не мешает, — весело отмахивается Вера.

Она тянется к стакану с недопитым вином, но я отбираю его и выпиваю сама, потому что от вина она станет еще болтливей и не даст мне заснуть.

Вера продолжает мечтать:

— Война закончится, мы прославимся и уедем в Париж. Ах, как бы я хотела жить в Париже!

— Что бы ты там делала? — интересуюсь я.

— То же самое, что и здесь. Танцевала бы в самых модных клубах.

— Но ты и здесь уже получила такую возможность.

— Ты ничего не понимаешь, — заявляет Вера. — Уверяю тебя, жить в Париже гораздо шикарней, чем в угрюмом провинциальном Шанхае. Париж — это центр мира. Ну почему я не в Париже? Вместо того чтобы прозябать в этом глупом месте, я бы веселилась сейчас в парижской мансарде в кругу художников и артистов!

Впоследствии, когда я побывала в Париже и пересеклась там несколько раз с белоэмигрантами, я вспоминала мечту Веры о парижской мансарде. Я пришла к выводу, что нам с ней в некотором смысле повезло, что скромная романтика нашей юности протекала вне условностей и ограничений Старого Света, в Шанхае, далеком от основных мировых событий.

Глава 8

Наши дела пошли на лад. Я привыкла к выходам на сцену так же, как привыкла к поденной работе в госпитале. Я стала танцевать более раскованно, и даже улыбка стала более естественной, хотя мне, конечно, было далеко до прирожденного артистизма Веры. Вере всегда доставалось больше внимания и денег от клиентов. Впрочем, ни ее, ни меня особенно не волновала наша разница в мастерстве — лишь бы зрителям нравился танец настолько, чтобы они готовы были бросить на сцену конверт с купюрами.

Кроме «танца голубых огоньков» мы придумали еще несколько номеров и сшили к ним костюмы. Публика стала принимать нас теплее, и деньги лились со всех сторон.

Мы стали элегантно одеваться, покупали красивые безделушки, и только необходимость часто менять сценические одеяния, а значит, прибегать к помощи Степаниды с ее машинкой, удерживала нас от переезда в более дорогое жилье.

У нас появились поклонники, и пришлось учиться их отваживать. Один раз, чтобы не встречаться с назойливым ухажером, ожидавшим у выхода, Вера вынуждена была покинуть клуб по желобу, через который с улицы в кухню доставляли продукты. Мы стали различать, от кого именно из сидящих в зале прилетал конверт, и разработали для таких посетителей особые виды улыбок и поклонов.

Однажды Вера сказала мне, что заметила среди публики Николя Татарова. Это было после особенно успешной премьеры нового танца. Мы только что покинули сцену и шли, переговариваясь, в гримерную. Вера на ходу перебирала банкноты, которые мы собрали в тот вечер, то и дело радостно вскрикивая «о-ля-ля» и «смотри, сколько здесь».

— Если так пойдет и дальше, придется нанять кого-то, кто будет советовать нам, на что потратить деньги до того, как они обесценятся, — говорит она.

Я хихикаю и советую ей подождать с подсчетами хотя бы до гримерной.

— Это же неприлично. Разве можно быть такой алчной? — упрекаю я ее.

Она вдруг вспоминает:

— А ты обратила внимание? В зале был Николя Татаров. Он сидел у бара с двумя девушками. Он смотрел на нас и что-то спрашивал у официанта. По-моему, он нас узнал.

Эта новость меня шокирует.

— Ах, в самом деле?.. — лепечу я упавшим голосом.

Со мной случается рецидив уязвленного благонравия. Меня остро задевает, что Николя, с которым мы знакомы с детства, теперь знает, что я танцовщица ночного клуба. Это занятие позволяет не голодать, но по статусу оно не намного выше уличной проституции. В том кругу, к которому я принадлежала до ухода «Розалинды», считалось, что это недостойная и даже немного позорная работа. Мне безразлично, что думают обо мне незнакомые люди, но мнение тех, кто меня знает, мне по-прежнему важно, потому что для них открыта возможность сравнить, какой я была и какой стала.

Вера улавливает мое настроение.

— Не переживай! Кто он нам? Что он нам может сделать? — легкомысленно успокаивает она.

Мы входим в гримерную. Там почти пусто, только Наташа, одна из русских танцовщиц, пришивает пуговицу за большим круглым столом в центре комнаты. Мы здороваемся с ней, она поднимает глаза от шитья.

— Здравствуйте, девочки! О, новые костюмы! Это просто шик!

Вера кружится передней, демонстрируя костюм. Я сажусь к зеркалу и начинаю снимать макияж.

Гримерная постепенно наполняется. Входит исполнительница индийских танцев. Она не индианка, а тоже русская.

Я знаю, что у нее громкая дворянская фамилия. Но фамилия не может прокормить, а индийские танцы могут.

Появляется еще одна русская актриса, которая только что приехала в клуб и боится опоздать к объявлению своего номера.

— Кажется, все-таки успела! Ох, ох, как я бежала! — запыхавшись, выдыхает она.

Я стараюсь держаться здесь как можно тише — мне не хочется привлекать внимание эмигранток к своему неполноценному русскому языку. На всякий случай лучше им не знать, почему в разговоре я пользуюсь только короткими общеупотребимыми фразами. Мы условились с Верой, что она будет подстраховывать, если кто-то попытается разговорить меня. Вера с ее болтливостью сороки обычно говорит за нас обеих и легко переводит внимание на себя, так что собеседник даже не замечает, что, начав разговор со мной, он каждый раз заканчивает его с Верой. Пока она рядом, мне нечего бояться.

— А это не твой кавалер дежурит у входа, Верочка? — спрашивает только что вбежавшая актриса.

Вера, занятая подсчетом полученных банкнот, услышав о кавалере, спохватывается.

— А! Су Линь! Мы же собрались сегодня в «Парамаунт»! — Она бросается переодеваться.

— Как у некоторых хватает сил танцевать еще и после работы? — удивляется Наташа.

— Но я люблю танцевать! Я люблю писать стихи, танцевать и… лошадей!.. — заявляет Вера и смеется вместе со всеми над своим бессвязным набором пристрастий.

— У Верочки, конечно, талант от Бога. Это видно сразу, недаром у нее столько поклонников, такой мгновенный успех…

Верочка наверняка станет звездой Шанхая, — неожиданно говорит девушка-псевдоиндианка.

Это громкое заявление сильно отдает завистью. Вера смущена.

— Ну что вы… Это вы зря. Все знают, что многие богачи приходят в кабаре пошвыряться деньгами. Сегодня они бросают конверты к ногам одной, завтра — другой. Это просто мода. Не стоит относиться так серьезно.

— Ах нет, надеюсь, это не так, — вмешивается актриса, пришедшая с улицы. — Все-таки, по рассказам, многие клубные танцовщицы нашли очень выгодные партии. Ах, если бы мне тоже найти покровителя… Для меня и моей малышки это единственный шанс вырваться из нищеты.

Неожиданно она поворачивается ко мне.

— Кстати, милочка, у вас ведь тоже интересный воздыхатель… Я заметила его недавно… Советую: обратите на него внимание… Кто знает, может, это тоже шанс…

Удивившись, я перестаю снимать грим, переглядываюсь с Верой. Практически у всех здесь есть поклонники, которые донимают актрис записочками и делают им подарки, но все они малоинтересны. В данном случае был упомянут «интересный» поклонник, что может означать среди танцовщиц богатство или влиятельность.

— У Айрини появился новый обожатель?!.. Кто же это? — интересуется Вера.

— Японец. Довольно высокопоставленный японский офицер. Мне его показал один знакомый в баре — его столик неподалеку. Так что — мои поздравления, Ирочка… — Женщина двусмысленно, но добродушно ухмыляется.

Все заинтересованы. Я шокирована.

— Японец? В самом деле?

— Как интересно… Ты слышишь, Айрини?..

— А… да… боже мой… Возможно, это какое-то недоразумение… — Я в совершенном замешательстве, не нахожу, что сказать, нервно улыбаюсь, развожу руками, качаю головой.

— Нет-нет, это не недоразумение. Уверяю вас: все так и есть… — говорит актриса, пришедшая с улицы. — Я специально наблюдала за ним, когда сидела в баре: он очень вами интересуется… Знаете, нет ничего забавней, чем наблюдать за взглядом влюбленного мужчины…

— Японец?.. Возможно, это неплохое знакомство, но… С ними следует быть осторожной — они сейчас хозяева в городе. Японцы могут быть очень жестоки, вы же слышали, наверное, о разных случаях? — замечает Наташа.

Я по-прежнему не нахожу слов для ответа.

Вера, спохватываясь, смотрит на часы.

— О, мне совсем-совсем пора! Айрини! Ты идешь?

Этим она спасает меня от внимания присутствующих.

Я и Вера выходим из клуба. Неподалеку фланирует Су Линь. Вера машет ему. Су Линь подходит, вежливо, как обычно, здоровается.

Вера окидывает взглядом Су Линя, оценивая, насколько он готов для «выхода в свет».

— Ну, мы пошли, — говорит она мне. — Может, и ты с нами?

Я улыбаюсь, отрицательно качаю головой.

— Нет, нет. Я в самом деле устала.

— Пора бы и тебе завести кавалера. Как насчет японского офицера, который, по слухам, наблюдает за тобой влюбленными глазами?

— Ну вот, и ты туда же! Не может быть и речи. Мне это совершенно не интересно! Не надо больше говорить об этом.

Вера просто дразнит, но все равно упоминание о японце выводит меня из себя. Как Вера может быть такой толстокожей? Неужели она не понимает, что все, связанное с японцами, может навлечь на меня, американскую гражданку, какое-нибудь непоправимое несчастье? Впрочем, она, конечно же, не понимает. У нее ведь нет американского гражданства. Она просто русская эмигранточка, с детства живущая на птичьих правах в чужой стране. Наоборот, из нас обеих именно я — та, кто только начинает понемногу соображать, что такое жить бесправно среди чужих людей в чужой стране.

Вера продолжает издеваться надо мной:

— Я заинтригована этим японцем. Кто бы это мог быть? Надеюсь, это не какой-нибудь круглолицый толстяк в очках. Вы бы смешно смотрелись вместе.

Когда ей надоедает развлекаться мыслью о моем японце, она вспоминает, что собиралась в «Парамаунт»:

— Ну ладно, нам пора. Су Линь, Айрини едет домой, найди ей рикшу.

Верный Су Линь говорит «да» и идет искать рикшу.

— Постарайся не игнорировать комендантский час, — говорю я. — Завтра в одиннадцать репетиция у хореографа. Если будешь клевать носом, можно считать, что

деньги ушли на ветер.

— Ах, ну что такое недосып в нашем возрасте?! Нужно пользоваться молодостью, пока есть время!

Появляется рикша. Я сажусь в кабинку. Вера и Су Линь провожают меня и уезжают веселиться в «Парамаунт».

Я еду на рикше домой и думаю о войне. Эти мысли навеяны таинственным японцем, которого я никогда не видела, и, вполне возможно, его вовсе не существует, его просто выдумали русские танцовщицы, чтобы подразнить меня и удовлетворить свою жажду сплетничать. Я заранее боюсь этого японца, и одновременно мне хочется, чтобы он был. Образ японца состоит из страха и ненависти, это образ врага, захватчика, но где-то на самом примитивном уровне души он символизирует власть, а власть притягивает, завораживает меня, как любую молоденькую самочку, — и я борюсь с этим притяжением, как умею, делаю попытки перенаправить обрывки искушающих фантазий в размышления о тяготах войны и о том, что из-за клубного успеха позволила себе совсем расслабиться и забыть, что война-то продолжается, и все мои достижения иллюзорны, и радости жизни могут испариться в любой момент, а им на смену придут ужасы бездомного существования или лагеря для интернированных. Я обвиняю себя в бездумной расслабленности, в отсутствии готовности к неприятностям, хотя совершенно непонятно, как можно облегчить возможные беды постоянной готовностью к ним, ведь если уж они наступят, то готовься не готовься, а придется нести тяготы в любом случае. Однако психика услужливо подсовывает мне рефлексирование над неразрешимыми вопросами, чтобы отвлечь от самих этих вопросов и заставить выпустить пар в области доступных мне моральных оценок. И я усердно мучаю себя пустыми размышлениями о войне, потому что не знаю, чем еще можно унять приступ внезапного беспокойства перед неизвестностью.

Я растравляю себя до такой степени, что не могу заснуть: мне мерещится, что стоит потерять бдительность и закрыть глаза, как хлипкая входная дверь будет выбита штыками японцев, пришедшими забирать меня в лагерь. Мне становится понятно, почему Вера затащила меня жить с собой на этом клочке бетона: по-видимому, ее тоже мучили ненужные страхи о неразрешимых вещах, когда она лежала здесь одна ночами, вдалеке от других жильцов, завернувшись в одеяло, после того как выключена лампочка под потолком…

Вера, да — Вера, одним только своим присутствием, своей глупой болтовней спасает меня от ужаса неизвестности и спасается сама с моей помощью. У Веры закалка против тьмы ночных страхов сильнее, чем у меня, но ей тоже невозможно долго находиться в одиночестве. Поэтому мы друг другу дороже, чем родные сестры. Вера — это моя семья сейчас, думаю я, она — как теплый круг света от настольной лампы, горевшей на столе в кабинете у отца в самые спокойные дни моего детства. Мое сознание цепляется за Веру, я говорю себе «как хорошо, что она скоро вернется», и постепенно успокаиваюсь; мои мысли меняют направление, замедляются, и я засыпаю.

Вера переживала свои собственные столкновения с реальностью войны. Однажды — не в тот раз, когда я доводила себя ночными страхами, лежа в одиночестве, а позднее, может быть, недели через две или еще позднее — она вернулась из дансинг-холла в странном подавленном настроении и рассказала, что видела, как японский офицер застрелил девушку-китаянку, отказавшуюся танцевать с ним. Вера сказала, что в полном народу зале выстрел был почти не слышен, но оркестр перестал играть, и люди стали суетиться, а когда толпа немного рассеялась, они с Су Линем увидели девушку, лежащую в луже крови. «И никто

ничего не мог сделать или даже высказать, как это возмутительно, понимаешь? Мы все просто стояли и смотрели, как бараны», — повторила несколько раз Вера с каким-то злым беспомощным выражением.

Я прекрасно поняла, какую мысль она хотела донести: самым ужасным оказалось бессилие, с которым ты наблюдаешь за разворачивающейся перед тобой катастрофой; невозможность помочь, исправить, защитить человека или когда кто-то демонстративно попирает привычные ценности, заставляя осознать твою полную ничтожность. Эта личностная ничтожность в мирные периоды не так заметна, весь фасад цивилизации выстроен так, чтобы у людей создавалась иллюзия своей значимости, но во время войны, когда законы перестают действовать, нелепая незначительность каждого, у кого нет возможности пустить в ход оружие, становится особенно зримой.

В тот вечер Вера еще много раз повторила, что она не может поверить, что можно застрелить человека в месте, полном людей, и какой дурой она себя почувствовала, когда поняла, что может лишь глупо стоять и смотреть, но я вовремя остановила ее сползание в порочное рефлексирование о неразрешимых проблемах. Я бросила ей ночную рубашку и выключила свет, заявив, что красавице китаянке уже не помочь, а Вера мешает мне спать своими излияниями.

Таинственный японец в самом деле существовал. Мы с Верой вычислили его совместными наблюдениями. Это был молодой сухощавый офицер, довольно высокий для японца. Мне в мои неполные двадцать лет он казался чуть ли не стариком, хотя, скорее всего, ему и было далеко до тридцати — он выглядел старше своего возраста из-за военной выправки и общей для японских военных доведенной до автоматизма сдержанности в манерах, из-за чего шанхайские русские часто обзывали японцев истуканами. Он всегда появлялся в компании других офицеров и девушек. У него были тонкие черты лица, и он выглядел немного скучающим. Обычно в руке у него была зажженная сигарета, но он редко затягивался, а скорее прикрывал процессом курения нежелание участвовать в беседе. Вероятно, он стал посещать клуб из-за требований этикета, чтобы составить компанию кому-то из высших чинов, но постепенно от скуки пристрастился к клубному времяпрепровождению. Не было похоже, что его что-то интересует за пределами стола, и он редко смотрел на сцену. Исключением была я.

Когда он смотрел на меня, у него в глазах появлялось странное изумленно-вопросительное выражение, словно ему хотелось меня спросить о чем-то очень важном, о какой-то тайне, которая известна только мне и ему. Так смотрят на кого-то, кого случайно встретили и узнали после реинкарнации в другой жизни. Вера, правда, была другого мнения и сказала, что немой вопрос в его глазах расшифровывается просто-напросто как «будешь ли ты спать со мной?». Так или иначе, острый интерес японского офицера ко мне заметили и в его компании: я пару раз видела, как кто-то из его окружения указывал в мою сторону и говорил что-то, что вызывало общий смех. Похоже, он не желал давать повод для вышучивания такого рода и избегал открыто смотреть на меня, а также относительно редко бросал на сцену деньги после нашего выступления. Но все же нет-нет, да и поймаешь на себе его взгляд, от интенсивности которого чуть не вздрагиваешь каждый раз. Можно подумать, что он не может сопротивляться внутренней потребности взглянуть в мою сторону, чтобы то ли подтвердить, то ли опровергнуть впечатление, которое сложилось обо мне.

Как обычно бывает в подобных случаях, из-за того что я оказалась в центре внимания этого человека и осознавала свою исключительность для него, моя восприимчивость стала

развиваться невероятными темпами. Вскоре наше с ним интуитивное взаимопонимание увеличилось до такой степени, что один короткий обмен взглядами позволял нам считывать эмоции и чуть ли не мысли друг друга буквально за долю секунды. Из-за этого я тоже стала избегать встречаться с ним глазами — мы как будто на телепатическом уровне договорились демонстративно не замечать друг друга, кроме тех кратких мгновений, когда он кидал на сцену конверт и я должна была улыбнуться и поклониться ему в знак благодарности. Улыбка у меня не получалась, хоть тресни, потому что я начинала нервничать, но ему, судя по всему, было достаточно и просто краткого прямого взгляда, который таким образом переходил из категории запретного плода в легализованную оплату.

Среди посетителей клуба были и другие мужчины, которые постоянно оказывали мне знаки внимания и давали деньги, но все они были просты в своих желаниях, их действия не подразумевали психологической глубины, и всегда было ясно, чего от них ожидать, в отличие от японца, молчаливое, но неотступное внимание которого вскоре стало для меня мучительным.

Вторым «неудобным» поклонником был Николя Татаров. Я узнала много неожиданных сторон его характера, наблюдая его в качестве завсегдатая клуба. Как и следовало ожидать, он тоже заметил во мне, как в клубной танцовщице, новую личность, и посчитал, что было бы забавным и даже пикантным восстановить наши отношения на новом уровне после пресного общения в школьные годы. Я, наоборот, всеми силами старалась избежать возобновления знакомства, что было довольно трудно, учитывая, что род моих занятий подразумевал поощрение внимания клиентов. Но до поры до времени мне удавалось избегать его.

Если японец придерживался каких-то внутренних, им самим для себя установленных пределов по отношению ко мне, то желание Николя заполучить ту или иную актрису в свое распоряжение не сдерживалось никакими моральными рамками. Наметив очередную жертву, он начинал охоту, используя самые наглые и бесцеремонные способы. Он засыпал актрису букетами и подарками, требовал через метрдотеля, чтобы она вышла к нему в зал, и мог часами торчать у входа, поджидая, когда появится его новая пассия. Кроме того, он совершенно не умел пить и часто смущал наших девушек пьяными выкриками с места и разными дурацкими выходками. Было известно, что Николя сотрудничает с японцами, поэтому его побаивались и администрация клуба смотрела на его поведение сквозь пальцы.

Глава 9

Гримерная переполнена. Гул голосов. Артисты, ожидающие выхода, играют в карты, беседуют, переодеваются. Я и Вера сидим за столом в группе игроков в покер. Шумно входит актриса, только что закончившая выступление.

— Вы только подумайте! Он хотел засунуть банкноту мне в декольте! — возмущенно обращается она ко всем.

— Что случилось, Элен? — откликается моя соседка по покеру.

— Этот Николя Татаров! Он опять появился! Все те же выходки, что и раньше, — женитьба не пошла ему впрок. Безобразие! Я прихожу сюда работать! Я единственный кормилец в семье! А ко мне относятся как к проститутке!

Присутствующие отлично наслышаны о подвигах Николя.

— Видно, молодая жена ему наскучила…

— Счастье еще, что этих богатых болванов не пускают в служебные помещения!.. Иначе житья бы от них не было…

— Молоденькие дебютантки, берегитесь! — с намеком говорит старичок гример. — В гримерной вы в безопасности, девушки, но ведь всегда можно подстеречь красавицу у входа…

— Да, достойные кавалеры перевелись… Распущенные русские баричи да японцы, — сетует актриса у гримировочного стола. — Однако русские олухи — это полбеды. Вы просто не сталкивались еще с ухаживаниями японцев! Вот с кем вы действительно намучаетесь, пока отвадите!

— О, терпеть их не могу! — восклицает Вера, вспомнив об убийстве молодой китаянки.

Ее тут же одергивают:

— Осторожней, Верочка! Такие слова в наше время не говорят на публике…

— Говорят, у Ирочки намечается именно японский поклонник… — бросает моя соседка по покеру, испытующе глядя на меня — не удастся ли заставить проболтаться про интрижку с японцем.

Я отмахиваюсь.

— Ах, вовсе нет, только этого не хватало! Нет, только не это, иначе мне придется выбираться из клуба через кухонный желоб…

В полуоткрытую дверь стучит мальчишка посыльный. Огромный букет в его руках привлекает общее внимание.

— Ого!.. И, конечно, от месье Татарова! — восклицает актриса у гримировочного стола. — Кому же на этот раз?

— Для мадемуазель Айрини…

Посыльный кладет букет на стол рядом со мной и удаляется. Раздосадованная, я застываю на месте, смотрю на цветы с отвращением. Вера вскакивает, подходит к букету, осматривает его и вытаскивает записку.

— Ну, кто же?! Это подношение от… от А-ки-то Абэ… — Вера пытается прочесть непонятное имя дарителя: — Акито Абэ….

Мы изумленно переглядываемся.

— Мои поздравления, — растерянно говорит Вера. — Ну вот, твой японский поклонник перешел к наступательным действиям. Но по крайней мере следует радоваться, что это не

Николя Татаров.

«Лучше бы уж это был Николя Татаров», — думаю я встревоженно, но тут же беру свои слова обратно. Николя Татаров вовсе не лучше. Чего доброго, он начнет шантажировать меня моим происхождением. Внимание обоих этих мужчин равным образом несет угрозу мне, юному наивному созданию с американским гражданством, вообразившему, что можно обмануть судьбу, если плыть по течению.

И очень скоро разразилась катастрофа, поставившая крест на моем коротком преуспевании в военном Шанхае.

Это случилось после представления нового номера.

То наше выступление оказалось очень успешным. К ногам Веры, как всегда, летит куча банкнот. Мне тоже достается несколько конвертов — необычно большое внимание для меня. Я с нервной улыбкой смотрю в зал, пытаясь определить дарителей. Я догадываюсь, кто это может быть. Я настороженно оглядываю публику и вижу своего японского поклонника, сидящего на своем обычном месте с каким-то 6 другим офицером и с двумя девушками, — как и следовало ожидать, он и был одним из тех, кто бросил на сцену деньги. Наш обмен взглядами — краткий и эмоционально насыщенный. Я с вынужденной улыбкой кланяюсь в его сторону, стараясь не встречаться с ним глазами. Из другого конца зала Николя Татаров бросает мне несколько купюр с восклицанием: «Мадемуазель, вы прелесть!» Николя пьян и ведет себя развязно и шумно. Я кланяюсь и ему и поспешно покидаю сцену.

Мы с Верой возвращаемся в гримерную. Я иду впереди, в руках сжимаю конверты. Вера, словно ребенок, пытается забежать вперед и вырвать их у меня из рук, чтобы из чисто спортивного интереса узнать, каков мой улов против ее. Я крепко держу конверты, не позволяя Вере их заполучить.

— Дай, ну дай же! Ну покажи же, что там такое!.. О, какая вредная!..

Входя в гримерную, я бросаю полученные от поклонников деньги на стол и сразу начинаю переодеваться. Я пока не готова заниматься подсчетом финансовой выгоды своей популярности. Мне не хочется обдумывать, как теперь лавировать между Николя и японцем. Конверты тут же оказываются в распоряжении Веры. Она без церемоний садится на стол, достает и пересчитывает купюры.

— О — браво! Вот это добыча! Nice pull! Прекрасно… о! Надо же!.. Однако этот японец… посмотри-ка!.. — то и дело вскрикивает она.

Внезапно в дверях появляется мальчишка посыльный.

— Господин Николя Татаров просит госпожу Айрини о встрече в баре… — громко объявляет он на корявом французском.

Все в гримерной заинтригованы.

Я не желаю встречаться с Татаровым.

— Пожалуйста, скажите, что я не могу прийти.

— Господин Татаров настоятельно просит госпожу Ирэн прийти в бар… — настойчиво повторяет посыльный. — Господин Татаров сказал, что если госпожа Ирэн откажется от встречи, он будет ждать ее у выхода из клуба.

Я понимаю, что встречи не избежать.

— Передайте господину Татарову, что я выйду в бар через пять минут.

— Крепись, дорогая… Будь построже, отшей его поскорей — всего пара слов и… и сразу скажи, что у тебя другой кавалер!.. — сочувственно тараторит Вера.

Я иду на эту встречу, не понимая, что мне ни в коем случае не следует этого делать.

Если у вас сомнительное положение в глазах общества и властей, вы должны держаться как можно дальше от публичных взглядов и воздерживаться от встреч с теми, кто способен использовать ваши слабые места против вас. Но я расслабилась от хорошей жизни и немного потеряла чувство реальности, которое выручало меня в первый год моего выживания.

Бар — место, где посетители клуба обычно назначают свидание актрисам. Он находится в некотором отдалении от сцены и зала, хотя между ними и нет четкой границы.

Я подхожу к бару и оглядываюсь, отыскивая Николя Татарова. Тот сразу окликает меня, непринужденно улыбается и призывно поднимает руку, приглашая занять место у стойки рядом с ним. Я подхожу и сажусь. Краем глаза вижу, что японский поклонник заметил мое появление в зале и незаметно, но внимательно наблюдает за мной со своего места.

Добрый вечер, мистер Татаров, — сдержанно здороваюсь я.

Николя пьян, но еще контролирует себя.

— Мадемуазель!.. Прошу, садитесь! Что вам заказать? — говорит он по-русски.

Он жестом подзывает официанта.

— Нет, спасибо, я не буду…

— Нет, прошу вас! в=Вы не можете отказаться! Нет! Ради нашей старой дружбы!..

Несколько посетителей оборачиваются и с любопытством смотрят на нас. Я пугаюсь нежелательного внимания.

— Тогда — все равно что, — обреченно говорю я.

Китаец-бартендер наливает мне что-то. Я беру бокал в руки и с безнадежностью ощущаю, как моя воля подавляется, меня уносит течением. Я не в силах сопротивляться ситуации, не знаю, как сдерживать энтузиазм пьяного мужчины. Я слишком поздно вспоминаю, что я — не героиня кинематографа, которая всегда поступает правильно, а всего лишь тихая инфантильная девочка из среднего класса, попавшая в ловушку жизненных обстоятельств.

Николя переходит с русского на табуированный для Шанхая английский, заставляя меня вздрогнуть.

— Не ожидал! — говорит Николя, двусмысленно улыбаясь. — Право, не ожидал вас здесь встретить!.. Вы всегда казались не такой девушкой.

Я беру себя в руки и сдержанно объясняю, стараясь как можно больше соответствовать стандартам благородной героини из кинокартины:

— Я просто зарабатываю здесь свой хлеб, мистер Татаров. Может, это выглядит со стороны странно, но это единственный заработок, который я смогла найти в сложное военное время.

Николя продолжает неприятно улыбаться. Ему, похоже, наплевать, героиня ли я из кинокартины или опустившаяся потаскушка с улицы.

— Поверьте, мадемуазель, я вовсе не ханжа… Я имел в виду, что вы всегда выглядели так, будто не можете позаботиться о себе. Поверьте, в вашем занятии нет ничего предосудительного!..

Мне нечего сказать, я молчу, отворачиваюсь от барной стойки, смотрю в зал, случайно встречаюсь глазами с японским офицером — поспешно и растерянно поворачиваюсь к стойке.

— Как вы смотрите на то, чтобы поужинать вместе? — спрашивает Николя.

— Думаю, это маловероятно. Уже поздно, пора домой, завтра будет трудный день. Извините меня…

Я делаю попытку уйти, из последних сил прикрывая гордым видом желание поскорей улизнуть от скандала. Николя хватает меня за локоть, не отпускает. Я неохотно возвращаюсь на место. Издалека японский офицер продолжает наблюдать за нашим разговором.

— Так как насчет ужина, мадемуазель?

— Боюсь, что нет. Мне пора. Прошу, позвольте мне уйти.

— Хорошо. Тогда так: сколько вы хотите за вечер?

— Мистер Татаров, помнится, когда я училась в гимназии, ваш тон был немного другим…

— О'кей… — Он ухмыляется. — Но тогда ведь вы учились в гимназии, а не были танцовщицей в ночном клубе…

— Я должна идти, прошу вас… — чуть не плача твержу я.

Николя, ухмыляясь, удерживает меня. Я беспомощно трепыхаюсь, пытаясь вырваться, насколько позволяют приличия, но силы не равны.

— Ну не будьте такой чопорной лицемеркой, Ирэн. Мы же друзья детства.

Я молча пытаюсь освободиться. Николя не пускает, ему нравится чувствовать свое превосходство. Рядом, к моему ужасу, возникает японский офицер. Он все-таки решил вмешаться.

— Отпустите девушку, — говорит японец на приличном английском. — Она не желает с вами оставаться.

Татаров изумлен и задет. У японца ледяной взгляд, и в существующей расстановке сил он не тот человек, чью просьбу можно легко проигнорировать. Николя не хочет давать задний ход, но понимает, что вынужден считаться. Он медленно встает, по-прежнему удерживая меня за руку. Я затравленно перевожу взгляд с него на японца. Я близка к обмороку.

— Офицер, вы неправильно поняли. Эта девушка — моя давняя знакомая. Мы просто разговаривали…

Японец смотрит на меня, пытаясь понять, какие отношения у меня с Татаровым. Я снова пытаюсь высвободиться. Появляется метрдотель, готовый вмешаться в события.

— Господин Татаров…

Николя злобно ухмыляется, продолжая крепко держать меня за руку.

— Между прочим… вы знаете, что защищаете гражданку враждебной нации? Эта девушка — американка!.. — говорит он японцу.

— Вы ошибаетесь… эта дама — из Манилы… — возражает метрдотель.

— Ха-ха — из Манилы!.. она американка! Я знаю ее семью! Это Ирэн Коул, американская гражданка! — Николя пьяно смеется и тут же заявляет громко, на весь зал, указывая на меня: — Господа, у этой дамы — американское гражданство, представляете!..

Внимание всего зала обращено на меня.

Я и японский офицер снова встречаемся взглядами. В моих глазах ужас, японец выглядит ошеломленным. Я наконец освобождаю руку от хватки Николя, неловко кланяюсь в сторону японца и сбегаю из бара.

Минуту спустя я влетаю в полумрак гримерной, где Вера и остальные по-прежнему играют в карты. С грохотом захлопнув дверь, я останавливаюсь и прислоняюсь к стене — беспомощное испуганное маленькое существо. Я тяжело дышу, нервно прикасаясь ладонями к горящим щекам и губам, словно пытаясь заслониться от невидимого удара, который, я чувствую, судьба скоро нанесет мне.

Присутствующие изумленно смотрят на меня.

— Дорогая, что с тобой? Что-нибудь случилось?.. — спрашивает Вера.

Я растерянно смотрю на нее, не в силах вымолвить что-нибудь.

Три дня я не находила себе места в ожидании, что японцы придут за мной. Вера смеялась над моими страхами, успокаивала, как могла, и убеждала, что, если бы японцам было нужно, они арестовали бы меня в тот же вечер. На четвертый день после случившегося я стала успокаиваться — как выяснилось, напрасно.

Они уже ждали меня, когда мы с Верой вернулись после прогулки. За углом дома стоял грузовик, но мы не заметили его, потому что подошли с другой стороны улицы.

Мы поднимались по внешней лестнице, и Вера как раз говорила, что пора забыть о скандале с Николя.

— Не дергайся ты больше. Никому ты не нужна, никто не обратил внимания. Японцам сейчас не до тебя.

Вера шла впереди, держа сумку с покупками. Я вела Лорда. Собака внезапно начала рычать и лаять.

— Что с тобой, Лорд?

— Наверное, крысу учуял. Быстрей — надо успеть переодеться и накраситься, — сказала Вера и внезапно резко остановилась, заметив, что дверь в нашу комнату слегка при — открыта.

— Что это?.. Почему?..

Мы переглянулись. И она, и я точно знали, что дверь должна быть заперта.

После небольшого колебания Вера поставила сумку на ступеньки, поднялась на площадку и с опаской распахнула дверь.

В комнате нас ждали несколько японских солдат и Степанида.

— Боже мой! Что, черт возьми, здесь происходит? — сказала Вера, уже понимая, что стряслось.

Я растерянно стояла за ее спиной, сдерживая беснующуюся собаку.

Главный из японцев сделал шаг нам навстречу.

— Ирэн Коул? Ирэн Коул? — Он поочередно указал пальцем на меня и на Веру; он страшно коверкал мое имя.

— Это я, — сказала я.

— Ирэн Коул? Быстрей, быстрей! Вещи! Десять минут!

Наша ленд-леди подскочила ко мне, бормоча вполголоса:

— Они пришли и ждут вас здесь уже час… Что я могла сделать? Дай-ка, я уведу Лорда, а то как бы не пристрелили под горячую руку…

Я отдала ей поводок, и женщина быстро увела собаку на свою половину. С тех пор мы с ней никогда не встречались, и у меня почему-то осталось ощущение, что ее больше заботила судьба Лорда, чем моя.

Я стала испуганно доставать свои вещи, протискиваясь в тесноте между японцами, которые и не подумали выйти на площадку. Японцы ждали, наблюдая за моими сборами молча, не вмешиваясь, не понукая. Может быть, в глубине души они сочувствовали мне.

Вера металась от них ко мне:

— Нет! Нет! Постойте! Как можно! За что же ее? Она просто танцовщица! Мы ничего плохого не делали! Разве нельзя ей остаться здесь?

Увидев, что словами ничего не добиться, она бросилась к свалке своей одежды и стала

перерывать ее в поисках вещей, которые могли бы мне пригодиться в лагере.

Она вытащила белье и одежду и стала помогать мне собираться.

— На вот, возьми, пригодится!.. — тихо сказала она и незаметно сунула мне в сумку пачку денег.

По ее лицу текли слезы, но она не обращала на них внимания.

Ей что-то еще пришло в голову. Она быстро вытащила все деньги, которые у нее хранились, и попыталась всунуть их японским солдатам.

— Возьмите! Пожалуйста, возьмите! Бедным солдатам трудно, тяжело сейчас, я знаю, деньги им не помешают… — Она стала всхлипывать. — Обращайтесь с ней хорошо, пожалуйста, прошу вас! Не обижайте ее!..

Солдаты стали отталкивать ее, но не сильно. Один для острастки замахнулся.

Я попыталась ее успокоить:

— Не плачь, со мной все будет хорошо. Они все равно давно должны были меня забрать. Это просто лагерь для интернированных. Это даже не тюрьма. Война ведь когда-то же кончится. Меня выпустят. Не надо так беспокоиться.

У меня даже получилось улыбнуться.

По-прежнему всхлипывая, Вера стала жать мне руки, прощаясь, совала скомканные деньги. Потом она спохватилась и снова пристала к японцам:

— Куда вы ее везете? Где это место, где оно? Пожалуйста, скажите! Я буду навещать ее!

Один из солдат снова замахнулся, видимо, посчитав ее слишком навязчивой.

— Я готова, — сказала я.

Главный японец жестом показал, чтобы я шла за ним.

Мы все спустились на улицу. Вера улучила момент и обняла меня на прощание.

— Айрини, я найду тебя! Не падай духом, дорогая! Прошу, пожалуйста, держись! Береги себя!

Я помню, что ее лицо было искажено от слез, как у обиженного ребенка.

Когда я забиралась в грузовик, Вера забросила туда вещи, которые она посчитала нужным собрать для меня. Она остановилась неподалеку и с горестным выражением наблюдала за нами. Я села на деревянную скамью и в последний раз помахала ей рукой. Грузовик тронулся.

То и дело вытирая мокрые щеки, Вера махала вслед и что-то кричала мне ободряющим тоном, но слов было уже не разобрать.

Как ни странно, я восприняла интернирование довольно спокойно, может быть, потому что в мыслях давно готовилась к нему. Только воспоминание о слезах, которые без остановки текли по щекам Веры, когда она провожала меня, не давали покоя, больно резали по сердцу. Мне было ужасно жаль ее из-за этих слез, будто она приняла на себя удар моих невзгод. «Как же она, бедняжка, будет теперь выступать без партнерши? — подумала я. — Как же я подвела ее своим глупым американским гражданством!»

Я до сих пор не знаю, по чьей именно воле угодила в лагерь. Могу только предположить, что среди посетителей или служащих клуба нашелся кто-то, кто не пропустил мимо ушей пьяные выкрики Николя. А может быть, сам Николя, протрезвев на следующее утро, счел нужным написать донос властям, чтобы японцы не обвинили его в пособничестве гражданам враждебных стран, в случае если кто-нибудь опередит его. У меня никогда не было никакого желания разбираться в этом вопросе. Это знание бесполезно и не меняет в моей судьбе ровным счетом ничего. Много лет спустя я случайно узнала, что

Николя Татаров умер в тюрьме, когда к власти в Китае пришли коммунисты, а его жена и те члены семьи Татаровых, которым удалось получить разрешение покинуть Шанхай в сорок девятом году, обосновались где-то в Австралии.

Глава 10

Меня привезли в один из больших лагерей для гражданских лиц — их много было в те годы в окрестностях Шанхая.

Охрана лагеря обменялась приветствиями с сопровождавшими меня солдатами. Мне велели спуститься с грузовика и провели к главному зданию. Там конвоиры оставили меня у входа, приказав ждать, а сами вошли внутрь. Я простояла около двух часов, пока наконец не появился низенький японец надзиратель, который должен был отвести меня в ту часть лагеря, куда помещали одиноких женщин. Японец держал грязный матрас, который он бесцеремонно водрузил мне на плечо, — я чуть не упала от тяжести.

Лагерь был когда-то частной школой-пансионом. Мы пришли в дальний флигель, где раньше был дормиторий для учеников. Все мои силы уходили на то, чтобы под тяжестью вещей приноровиться к быстрому шагу японца надзирателя, и я лишь мельком успевала присматриваться к новому окружению.

Моими первыми впечатлениями были: грязный коридор ранее респектабельного здания, грязные холлы, окна, выходящие то в тупик, то в небольшой запущенный садик с несколькими деревьями, пара открытых дверей каких-то служб, где работали изможденные женщины в грязной оборванной одежде.

Мы пришли в дормиторий. Он был заполнен не кроватями, а матрасами. С первого же взгляда можно было определить, что они кишат насекомыми. Как мне объяснили позднее, кровати убрали специально, чтобы расширить пространство, — там, где стояли две кровати, можно было положить сразу три-четыре матраса. Помещение было забито женщинами разных возрастов и девочками-подростками.

Кое-где были протянуты веревки, и на них висели одеяла — они играли роль ширм и создавали видимость приватности. На таких же веревках сушилось рваное белье. Везде, где только можно было что-то положить, валялись груды каких-то вещей. Обстановка напоминала сильно скученную палату временного госпиталя. Все выглядело жалким и грязным, и в воздухе стояла сладковатая гнилостная вонь от немытых тел.

При виде сопровождавшего меня японца обитательницы дормитория сразу прекратили разговоры, вскочили со своих мест и дружно поклонились ему. Для меня было очень странным — почти диким — видеть, чтобы белые женщины кланялись азиату на азиатский манер.

Я растерянно стояла у дверей. Японец надзиратель обратился к женщинам по-японски, жестами показывая, чтобы они раздвинули свои матрасы и освободили место для моего. Они поспешно повиновались.

— Быстрей! Сюда! Быстрей! — поторопил он меня на ломаном английском.

Я торопливо расстелила матрас и положила на него часть вещей — кое-что поценней предусмотрительно продолжала держать в руках. Японец еще раз окинул взглядом помещение и вышел. Я осталась на ногах, испуганно осматриваясь.

Поведение женщин сразу переменилось. Они расслабились, снова заговорили. Теперь внимание большинства было направлено на меня.

— Новенькая, совсем молодая, — промолвила одна женщина, обращаясь не ко мне, а к своей соседке.

— Несчастная, как мы все… — откликнулась та и вздохнула.

Они внимательно рассматривали меня — и с особым любопытством мои вещи. Некоторые подошли ко мне, а следом подтянулись другие, и скоро вокруг меня образовалась целая группа интересующихся.

— Ты кто? Откуда? Как ты сюда попала? Как тебя зовут? — наперебой спрашивали по-английски обступившие меня женщины.

Я совсем растерялась от их бесцеремонного внимания.

— Я-я из Шанхая… Меня зовут Ирэн Коул… — испуганно представилась я.

— Сколько тебе лет? Где твоя семья? Ты англичанка? Евразийка?

— Американка…

— У тебя есть что-нибудь для обмена?

— Ну почему, почему ее матрас именно рядом с моим? И без нее тут тесно! — возмущенно выкрикнула внезапно подскочившая сбоку женщина. Ее агрессивность ошеломила меня. Я не могла заставить себя произнести ни слова.

Еще одна женщина пробилась ко мне сквозь толпу.

— Эй, с дороги! Леди, пропустите меня к новенькой!

Она окинула меня острым взглядом серых прозрачных глаз и протянула мне руку.

— Мое имя Джейн Фокс, девочка. Я тут староста. Что же нам делать с тобой? Давай-ка посмотрим, как тебя пристроить здесь получше.

Я начала лепетать что-то в ответ, но она не слушала.

— Чего вы пристали к девчонке? Ей и без вас не сладко. Отойдите, отойдите — что вы все тут стали? — накинулась она на толпившихся вокруг женщин.

Те послушно отступили на пару шагов — было заметно, что Джейн Фокс здесь верховодит.

Она присела у моего матраса и стала разглядывать вещи.

— Ну, что тут у нас?.. Плед… Полотенца… Одеяла у тебя, конечно, нет… — деловито бормотала она себе под нос, а потом обернулась к толпе и крикнула: — Эй, у кого-нибудь есть лишнее одеяло? Кто хочет поменять одеяло на пару чистых свитеров и мыло? У новенькой есть мыло!

Теперь к моему матрасу сбежался весь дормиторий. Женщины возбужденно переговаривались, обсуждая ценность моих вещей.

Видя, что у меня не хватает смелости торговаться самой, Джейн Фокс без колебаний взяла дело в свои руки и проявила себя, как заправский аукционер. По ее требованию я наспех рассортировала вещи на те, с которыми готова была расстаться, и те, которые хотела бы оставить.

— Я готова отдать одеяло — но за два куска! — откликнулась одна женщина.

— Иди сюда, Элси! У новенькой только один кусок, но у нее есть много интересного! — подозвала ее Джейн Фокс.

— Ода, теперь все клопы с ее матраса и одеяла Элси прибегут к моим в гости! Отлично! — возмущенно вставила моя агрессивная соседка.

— Заткнись, Люси, будь добра! — зло и выразительно попросила Джейн Фокс. — Может, ты хочешь, чтобы ее вообще не было? Так скажи японцам!

Люси замолчала и с возмущенным видом бухнулась на свой матрас, что-то бормоча под нос.

Выторговав для меня теплое одеяло и еще кое-что необходимое для жизни в лагере, Джейн Фокс ободряюще улыбнулась.

— Ну, теперь-то ты ни за что не пропадешь. Я ведь говорила, деточка, что мы тебя пристроим.

Я помню, что в первую ночь в лагере долго не могла заснуть. Лагерные матрасы кишели клопами, и я беспрерывно ворочалась, пока одна из соседок не отчитала меня шепотом за то, что я мешаю ей спать. Лежать было ужасно неудобно. Мой матрас топорщился и бугрился, потому что злобная Люси потребовала, чтобы я подвернула его, так как его края влезали на ее территорию. Даже повернуться или поменять позу лишний раз было сложно без того, чтобы не потревожить соседок справа или слева.

Я размышляла о своем новом положении и думала о матери, сестрах и брате. В дни клубного благополучия я реже вспоминала о них, но когда жизнь вновь стала суровой, мои мысли опять возвратились к семье. Я лежала на грязном матрасе, укрываясь одеялом, обменянным на кусок мыла и одежду, и думала, что вполне смогу пережить и это испытание. У меня было тяжело на сердце, но все же не настолько тяжело, чтобы заплакать. Главное, говорила я себе, не забывать, что каждый новый день приближает меня к концу войны — к тому моменту, когда я вернусь в свою семью. И тогда не будет человека счастливей меня: пусть мать вечно ворчит и придирается, пусть сестры сколько угодно придумывают поводы для насмешек, а брат не замечает моего присутствия — я все равно буду счастлива просто потому, что они рядом.

Утром я проснулась от воя сирены — сигнала подъема. Я вскинулась на постели, не сразу поняв, где нахожусь. Я с изумлением смотрела, как женщины вокруг вскакивали с мест и мчались куда-то из дормитория со всех ног.

— Новенькая, просыпайся! поторопись! Эй, толкните ее кто-нибудь! — окликнула меня Джейн Фокс с другого конца помещения. — Эй там, кто-нибудь, поднимите новенькую!

— Давай, вставай уже! Если опоздаешь, японцы тебя накажут. — Люси бесцеремонно дернула меня за лодыжку.

Вскочив, я бросилась за остальными во двор, на ходу, как все, приглаживая волосы и поправляя одежду.

Как бы ни спешили обитатели лагеря на построение, они обязательно останавливались и кланялись японским надзирателям, если те встречались на пути. Я тогда еще не понимала, что поклон — это важно, и женщина, случайно оказавшаяся рядом, толкнула меня в спину, принуждая поклониться японцу, стоявшему неподалеку.

— Кланяйся! Кланяйся, дурочка! Хочешь, чтобы тебя избили?

Перекличка проходила перед главным зданием. Там построили весь лагерь: из мужского, женского и «семейного» флигелей. Я боялась что-нибудь напутать и следила за окружающими, пытаясь подражать их поведению. Появились офицеры, проводящие перекличку. Заключенные кланялись всякий раз, когда те проходили мимо или даже случайно поворачивались к ним лицом.

Толстый японец начал называть имена женщин из нашего дормитория, а те с поклоном откликались. Я напряженно ждала, когда назовут меня, но все равно прозевала, потому что не узнала свое имя в искореженном японском произношении. Возникла пауза. Женщина, стоявшая сзади, толкнула меня; я спохватилась, неловко откликнулась и поклонилась. Японец подошел ко мне, что-то выкрикнул и замахнулся, заставив меня сжаться. К счастью, он был, очевидно, не в настроении осуществлять наказание, и я отделалась лишь чувством унижения.

Я вскоре узнала, что лагерь, в который меня привезли, предназначен для содержания

полукровок и лиц смешанного происхождения с гражданством «враждебных стран». Первоначально в него помещали только евразийцев, но позднее японцы стали привозить туда и тех, чье происхождение или гражданство было трудно подвести под какую-либо категорию. Я попала туда из-за того, что, по мнению японцев, с моими русскими корнями могла считаться лишь наполовину американкой. По такой же логике здесь очутились одна полунемка-полуамериканка и одна голландка с британским паспортом. Что касается нашей старосты Джейн Фокс, то она была англичанкой, которая вышла в Шанхае замуж за американца, и это тоже дало японцам повод причислить ее к лицам «смешанного происхождения».

Первые дни жизнь в лагере казалась мне хаотичной. Я была так подавлена суровостью окружения, что долго не могла запомнить лиц и имен соседок. Все эти оборванные худые женщины казались мне одинаковыми. Самое большее, что я могла различить, — кто из них белая, а кто полукровка. Исключением были Джейн Фокс и злобная Люси, лица которых запомнились мне, очевидно, из-за шока первой встречи.

Я довольно долго не могла разобраться в их сложном этикете поклонов. У меня не получалось рассчитать, когда наступает момент, в который нужно поклониться: тогда ли, когда надзиратель входит? Или когда он смотрит в твою сторону? Следует ли кланяться вторично, если уже поклонилась, когда японец был вдалеке, а затем подошел? Когда я спросила одну из своих соседок, как определить, когда пора кланяться, она рассмеялась и сказала, что чем больше кланяешься по любому поводу, тем лучше — так-то уж точно не ошибешься.

В первый день я опоздала на раздачу еды — и осталась без обеда. Моя порция досталась кому-то другому. Порцию, которую я получила на ужин, кто-то ловко украл у меня из-под носа, когда я поставила ее на край стола и наклонилась, чтобы осмотреть оцарапанную о скамью ногу. Этих двух случаев было достаточно, чтобы я научилась всегда быть настороже и не опаздывать к раздаче чего бы то ни было. Я даже научилась отстаивать свое место в очередях за похлебкой, когда меня пытались оттереть.

У меня появились обязанности по дормиторию, и еще меня поставили на дежурства в столовую и на чистку уборных. В лагере у всех были какие-то обязанности. Здесь все работали, даже дети — иначе не выжить. Самые обычные для мирной жизни бытовые действия превратились в условиях лагеря в долгий утомительный труд.

Однажды, вернувшись с дежурства по кухне, я обнаружила, что у меня украли часть вещей, которые лежали у моей постели. Воры забрали все, что невозможно было опознать и потребовать обратно. Я растерянно перебирала оставшиеся пожитки и размышляла, как защититься от воровства. Я несколько раз сталкивалась с уличным воровством в голодном Шанхае, но кражи в герметичных условиях лагеря оказались гораздо более страшной угрозой. Я ведь не могла сторожить свои вещи, не отходя от них, или таскать повсюду, держа при себе. Я не могла даже попросить какую-нибудь из соседок за ними приглядеть, пока меня нет, — я не имела представления, не является ли при здешних порядках такая просьба чем-то из ряда вон выходящим.

Я стала украдкой присматриваться к женщинам, которые находились в это время в дормитории, и прислушиваться к их разговорам, пытаясь понять, что за люди меня окружают и нет ли среди них той, кто обокрала меня и сейчас незаметно наблюдает со своего места, как я собираюсь вести себя, обнаружив кражу.

Справа от меня девочка-подросток сосредоточенно пыталась отчистить юбку от грязи, а

рядом с ней ее старшая сестра делилась со своей соседкой какими-то местными сплетнями.

Чуть подальше две обитательницы дормитория, понизив голоса, разговаривали о чем-то, что имело отношение к лагерному черному рынку:

— …Спроси его, нельзя ли раздобыть свиного сала… Всегда можно обменять на рис… И оно такое калорийное…

Все, на кого ни поглядишь, казались безобидными и вполне приличными. Кто же из них украл мои вещи? Неужели придется подозревать всех подряд и жить в постоянном напряжении?

На другом конце помещения Джейн Фокс зычно крикнула кому-то:

— Эй, Мэри! Ты, помнится, задолжала мне мыльной воды для стирки. Я собираюсь стирать! Где моя мыльная вода?

— Ах, да она ждет тебя в углу, Джейн… зачем столько шума?.. — ответила владелица мыльной воды.

— Новенькая! — окликнула меня Джейн. — Будь добра, подай-ка мне ведро с мыльной водой, вон там, за тобой слева!

Я вскочила, перепрыгивая через матрасы, добралась до ведра и притащила его к дверям, где ожидала Джейн.

— Пойдем, поможешь мне! Я дам мыльной воды для твоего бельишка, — сказала она и добавила, окидывая меня взглядом своих пронзительно серых глаз: — И расскажу тебе заодно, как у нас тут все заведено.

Я с готовностью согласилась. Мне нравилась Джейн, нравилась ее английская прямолинейность. Может быть, она подскажет, как защититься от воров, подумала я. Мне хотелось доверять ей.

Нагруженные вещами и утварью для стирки, я и Джейн зашагали по пустому коридору в другое крыло здания — там находилась прачечная.

Джейн шла быстрее. Ей приходилось беспрестанно оглядываться и замедлять шаг, поджидая меня. Я то и дело останавливалась, зазевавшись или роняя что-нибудь. Меня зачаровывало это красивое заброшенное здание: длинные коридоры с высокими потолками, огромные вытянутые окна, колонны, — было странно думать, что в таких величественных помещениях должны ютиться в убогих условиях такие жалкие потерянные создания, как я.

По дороге попались пара кулуаров с окнами, выходящими на маленький внутренний дворик. Там было несколько деревьев и кустов. Не бог весть какой живописный вид, но мне было трудно оторвать от него глаза. Небо… качающиеся ветки… это было как обещание свободы, как напоминание, что спокойная безмятежная жизнь еще существует где-то…

— Эй там, а ну-ка шевелись, а то мы и до ночи не дойдем до места! — слегка прикрикнула издали Джейн Фокс.

— Такое красивое здание… что здесь было раньше? — спросила я, когда догнала ее.

— Здание-то красивое, да вот жизнь в нем несладкая… Это бывшая католическая школа для детей богачей из Шанхая. Японцы переделывали ее несколько раз, да, видать, былой шик не так-то просто вытравить.

Мы вошли в старинную, обложенную кафелем прачечную.

— Ну вот, такая громадная комната — и только для нас! И даже есть немного мыльного раствора для стирки! В наше время это надо ценить!.. — весело сказала Джейн.

Глядя, как я пытаюсь открутить краны, она усмехнулась.

— Я еще помню время, когда тут была вода. Даже не верится, что когда-то у нас была

такая роскошь. Но сейчас приходится носить воду со двора мужского корпуса.

Оставив тазы в прачечной, мы отправились набирать воду к мужскому корпусу, а затем — уже с водой — на кухню, чтобы вскипятить ее на старинных плитах. Потом мы вернулись в прачечную и принялись стирать, по очереди оттирая вещи в дефицитном мыльном растворе. Весь процесс был длинным и физически тяжелым. К концу стирки мы притерлись друг к другу и естественным образом избавились от скованности незнакомых людей.

Мыльная вода стала совсем черной, но Джейн не разрешила ее выливать, сказав, что она еще пригодится. Мы принялись выкручивать и развешивать белье.

— Я иной раз прихожу сюда стирать и без мыла, когда мне хочется одиночества, — сказала Джейн. — Здесь так мало мест, где человек может побыть один.

Помолчав, она добавила:

— Я позвала тебя с собой, чтобы поговорить без лишних глаз. Похоже, тебя навестили незваные гости. Я видела, как ты перерываешь свои манатки.

Я сразу поняла, о чем она.

— Я покажу тебе, кто крадет, а ты запомни их на будущее. У нас все давно знают их и держатся настороже, когда те крутятся рядом.

Она описала мне местных воровок и дала несколько ценных советов, как спасаться от краж.

— На воле можно вызвать полицию или просто уйти от таких и избавиться от их общества. Но здесь, к сожалению, они всегда рядом, от них никуда не деться, — сказала она, не подозревая, что проговаривает мои собственные мысли. — Если есть что-то особенно ценное — старайся всегда держать при себе.

— Кажется, у меня нет ничего особенно ценного… — пробормотала я.

— Ничего? Совсем? У тебя нет никого, кто мог бы передавать тебе продукты, мыло, нитки? Каких-нибудь знакомых на черном рынке?

— Нет. Скорее всего, нет. Разве что одна русская подруга. Но она не знает, где я, так что…

— Плохо. Трудновато тебе придется. Старайся беречь свои вещи, других тебе никто не даст.

Я печально кивнула.

— И когда у тебя будут месячные, то, чтобы не было лишних проблем… — начала советовать она, но тут же прервала сама себя: — А впрочем, они у тебя все равно скоро прекратятся — тут у большинства женщин давно уже нет месячных.

Я ничего не ответила. У меня не было сил отвечать. Я молча стояла, проникаясь драматизмом положения. Теперь, оказывается, у меня не будет и менструаций. У всех женщин мира есть менструации — а у меня их не будет, хотя мне всего лишь двадцать один год. Почему это должно было произойти именно со мной? В чем я виновата?

Джейн почувствовала мое настроение.

— Эй, девочка! Зачем так переживать? — Она подошла ко мне и потрепала по плечу — и тормошила меня, пока я не вышла из ступора. — А ну-ка, выше нос! Все не так плохо, как кажется! Давай-ка доделаем, что начали.

Мы закончили стирать. Возвращаясь в дормиторий, я опять задержалась, чтобы взглянуть на маленький сад.

Этот небольшой запущенный дворик странно притягивал внимание. В нем было что-то гипнотическое. Свободное пространство за окном, несколько чахлых растений, дальше

каменная ограда, за которой видно небо и вершины невидимых деревьев — и услужливое воображение мгновенно дорисовывает там — где-то дальше, далеко-далеко, в бесконечной перспективе — сказочные леса и привольные долины, где живут счастливые люди. Всю свою жизнь в лагере, спеша на утреннее или вечернее построение, я старалась хотя бы мельком взглянуть на тот вид из окна. Это было как маленький глоток свободы. Символ свободы.

Глава 11

Жизнь в лагере была тяжелой, но мне ничего не оставалось, как привыкнуть к ней. Я привыкла вскакивать по утрам по сигналу сирены и сломя голову мчаться на перекличку. Привыкла низко кланяться японцам и справляться со своими обязанностями по лагерю. Познакомилась со многими товарищами по несчастью или, по крайней мере, стала узнавать их в лицо. Научилась всегда быть настороже и держать свои вещи при себе. Жизнь временами стала казаться сносной.

Я даже немного побыла учительницей и учила французскому детей из семейного корпуса. У нас не было ни учебников, ни бумаги, и я подготавливала материал, заучивая его на память, а на уроках мои ученики старательно заучивали его вслед за мной. Еще у нас время от времени устраивали разные праздники, а однажды нашим старостам удалось даже организовать «олимпийские игры» между корпусами.

И хотя я первое время удивлялась, наблюдая, как такие же голодные, грязные и лишенные свободы, как я, люди находят возможности радоваться жизни, я постепенно прониклась этим общим настроением и тоже старалась жить интересами мирного времени. Я продолжала говорить себе, что война — это временно и рано или поздно я снова вернусь в свою семью.

Тем временем война продолжалась, и жить становилось тяжелее. Нам постепенно урезали порции. Одежда у многих полностью износилась, и люди вынуждены были мастерить себе балахоны из лоскутьев. Все коридоры были забиты матрасами новоприбывших, поскольку в дормиториях уже не хватало мест.

В конце сорок третьего года в лагере вспыхнула эпидемия тифа.

Как-то во время подъема одна из женщин неподалеку от меня пыталась растормошить свою дочь, которая почему-то не поднималась.

— Хизер! Вставай же, Хизер! Что с тобой? — внезапно она вскрикнула. — Боже, она в беспамятстве! У нее лихорадка! Джейн! Надо отправить ее в лазарет! Джейн!

Джейн Фокс уже была рядом.

— Отойдите! Все отойдите! Вы не знаете, что у нее за болезнь! Не смейте подходить к ней! — крикнула она, отталкивая женщин, которые подошли к больной.

Хизер отправили в лазарет, где она умерла через несколько дней. Так началась эпидемия.

Матрас Хизер сожгли. Вскоре сожгли матрасы многих других. Почти каждый день кого-то отправляли на лазаретную койку, и редко кто-нибудь возвращался. Нам всем пришлось привыкать к плачу и крикам женщин, часами бившихся в истерике из-за смерти своих близких. «Как хорошо, что никто из моей семьи не попал со мной в лагерь и не умер от тифа», — обычно повторяла про себя я, слушая вопли скорбящих.

Из-за эпидемии в дормитории появилось немного свободного пространства. Но места умерших пустовали недолго. Японцы привозили других интернированных — и, как правило, новоприбывшие были из лагерей, где тоже свирепствовал тиф.

Однажды надзиратель привел к нам группу новеньких из лагеря где-то в окрестностях Гонконга. Это были женщины разных возрастов, в руках они держали свои вещи и матрасы. Японец жестом показал им, чтобы они размещались, и ушел. Женщины стояли у дверей, осваиваясь и оглядываясь в поисках свободных мест. Все они выглядели очень усталыми и

подавленными.

Местные обитательницы присматривались к ним с любопытством, смешанным с недовольством от грядущего уплотнения.

Одна из новоприбывших выступила вперед и осторожно обратилась к местным:

— Здравствуйте, все. Мы из Гонконга.

Джейн Фокс, как обычно, была первой, кто вступил в контакт с новенькими. Она вскочила и подошла к ним.

— Здравствуйте, леди. Я тут староста, мое имя Джейн Фокс. Ну что же, будем принимать пополнение. — Она повернулась и звонко скомандовала: — Эй, Памела, Люси и ты, Мадлен, ну-ка быстро подвиньтесь, там рядом с вами полно свободного места! А ты, Барбара, — да, это я тебе, не делай такого лица, будто тебя не касается, у нас пока только одна Барбара — ты, что же, ждешь особого приглашения? Быстро убери свои вещи с прохода!

Дормиторий зашевелился. Памела, Люси и Барбара стали быстро отодвигать свои вещи; Мадлен было замешкалась, но Джейн тут же подогнала ее, прикрикнув:

— Мадлен, ты думаешь, раз Хизер умерла, то теперь ее место — твое? А ну скинь живо свои шмотки с прохода!

И Мадлен, не смея возразить и бормоча что-то о том, что ей жутко надоела эта таборная жизнь, бросилась поскорее сдвигать свои вещи.

Гонконгские, стоя у двери, молча наблюдали за перемещениями. Они, как и я когда-то, не были уверены, что им легко достанется жизненное пространство в новом окружении.

— Ну что ж, дамы, давайте, пожалуй, размещаться, — наконец нерешительно сказала одна из новеньких, обращаясь к своим.

Они начали устраиваться. В помещении стали происходить разнообразные передвижения. Матрасы снова сдвинулись, вокруг них появились новые груды вещей. Женщины сбились в группы вокруг приехавших, чтобы познакомиться и узнать что-нибудь о мире за пределами лагеря. Я штопала прореху в одежде недавно выменянными нитками и краем уха слушала гонконгские новости. Почти все новоприбывшие оказались подданными Великобритании.

— Почему вы не эвакуировались до войны? — спросила Джейн у кого-то из своих соотечественниц. — Здесь в Шанхае британские власти чуть ли не с оружием выдворяли женщин с британскими паспортами. Разве у вас в Гонконге такая вольница, что можно было плевать на предписания лондонского офиса?

Этот вопрос вызвал невеселый смех среди гонконгских.

— Кто ж знал, что так получится, — сказала одна новенькая. — Лондон-то, конечно, давил и на нас — а мы сопротивлялись. Мы ведь почти все здесь жены офицеров, и нас так легко не испугаешь. Я помоталась с мужем по миру двадцать лет, навидалась войн, больших и маленьких. Но разве кто-то мог предвидеть, что будет такая война?..

— Да ерунду ты несешь, Лиза, — перебила ее другая женщина. — Мы сами виноваты, что вляпались. Когда МИД уже точно знал, что войны не избежать, он оставил нас в покое. За месяц до войны вдруг резко прекратились звонки из консульства — а вы сами помните, как они до этого терзали наших женщин требованиями выметаться из Гонконга. Мы и возликовали — подумали, что наша взяла и мы натянули нос чинушам. А на деле Лондон увидел, что развязка близка, и просто решил поставить на нас крест.

— Из Гонконга у нас еще никого не бывало, — сказал кто-то из местных. — С кем

только не встретишься на войне… Но зачем японцы перевели вас сюда?

— Из-за тифа, — ответила подруга Лизы. — По слухам, в прибрежных лагерях большая смертность от болезней. Японцы проводят уплотнения, чтобы экономичнее содержать тех, кто еще жив.

Она оглянулась на своих и вдруг воскликнула:

— Эй, Салли, а ну-ка вставай — что с тобой? Салли! Маргарет, что с твоей сестрой? О господи! Неужели опять тиф?!

Обнаружилось, что девушка из гонконгской партии неподвижно лежит на полу рядом со своими вещами. После небольшого переполоха ее привели в чувство, и ко всеобщему облегчению выяснилось, что она просто заснула от усталости.

— Нет-нет, это не тиф. Нас везли сюда на грузовиках несколько часов, — виноватым тоном сказала сестра Салли, хлопотавшая возле нее. — Мы все страшно измучились. Ехали стоя. Представьте, что такое ехать стоя много часов! А Салли у нас болезненная с детства — как же ей было не свалиться?

Она помогла сестре встать, приговаривая вполголоса:

— Эх, милая моя, если бы мы с тобой успели в первые дни уйти на «Розалинде», мы бы не попали в это вшивое место…

«Розалинда». Они упомянули «Розалинду». Я навострила уши, но эти женщины уже занялись другими делами, и больше о «Розалинде» не прозвучало ни слова.

«Не та ли это “Розалинда”, на которую я не попала?» — подумала я.

Это был первый раз, когда я задумалась, чем на самом деле было судно. До этого «Розалинда» в моих глазах была чем-то вроде Летучего Голландца — мистический корабль, который унес моих родных в никуда. Это отношение, в сущности, свидетельствовало о том, какой инфантильной я по-прежнему оставалась, несмотря на испытания войны. «Розалинда» ведь была вполне реальным судном, команда которого, очевидно, воспользовалась неразберихой первых дней декабря сорок первого, чтобы заработать на богатых беженцах неплохие по тем временам деньги.

Я подождала, когда Салли и ее сестра обустроят свои места в дормитории, и осторожно подошла к ним с вопросом, что они знают о «Розалинде».

— Мои родственники тоже эвакуировалась на «Розалинде», мне хотелось бы выяснить, не та ли это «Розалинда»? — робко пояснила я свой интерес.

— А, «Розалинда», — да, известное коммерческое судно. «Розалинда» промышляла по всему китайскому побережью; говорили, что не чуралась и пиратства, — вот уж отчаянные ребята! — стала рассказывать словоохотливая Салли, которая уже вполне пришла в себя после краткого сна на полу. — Наш отец имел дело с коммерческим флотом, и мы купили места на «Розалинде» в первые дни войны, но, к сожалению, на переходе из Шанхая ее потопили японцы. Если бы не это, мы бы с сестричкой пили сейчас шампанское где-нибудь в более счастливых краях. Ах, как жаль, что мы не успели тогда сбежать из Гонконга!.. Да что с тобой, Маргарет? Чего ты все дергаешь меня за юбку?.. Кроме «Розалинды» было еще одно такое судно, но мы пропустили и его. Уж не везет так не везет!

— «Розалинда» затонула? «Розалинда»?! — У меня стало темнеть в глазах. — Вы сказали — «Розалинда»? О, ради бога! Вы уверены? Может, это не «Розалицца»? На «Розалинде» была моя семья! Не может быть, чтобы «Розалинда»!..

— Вот и не знаешь, что хуже: потонуть или попасть в зачумленный лагерь… — вздохнув, сказала одна из женщин поблизости — и я с нелепым растерянным изумлением

оглянулась на нее, вдруг осознав, что окружающие прислушиваются к нашему разговору.

— Дорогая, пожалуйста, возьмите себя в руки, — сказала сестра Салли, сочувственно глядя на меня.

— О нет, нет! О чем вы говорите! Не может быть! Я не верю, нет, не верю! Может, есть какая-то другая «Розалинда»?! Может, было несколько «Розалинд»? «Розалинда» — это ведь такое распространенное название для судна! — горячо продолжала допытываться я у сестер из Гонконга, еще окончательно не поняв, во что, собственно, я не верю, но уже чувствуя реактивно подступающий комок в горле и внезапное напряжение где-то в области гипофиза.

— «Розалинда» в декабре сорок первого шла из Шанхая в Гонконг, но по пути ее подбили, и она затонула. Мне очень жаль… — растерянно сказала Салли.

— Я не могу поверить!.. Я не верю!..

— Бедная девочка… Боже мой, сколько горя! Господи, смилуйся над нами… — вздохнув, сказала какая-то женщина поблизости.

Кто-то попытался обнять меня за плечи, но я вырвалась и, всхлипывая, выбежала из дормитория.

Джейн Фокс отыскала меня в прачечной. Я сидела на корточках в углу, уткнувшись лицом в колени, и тихо рыдала. У меня уже прошел первый пароксизм истерики.

— Вот ты где? Я так и знала, что ты здесь, — сказала Джейн и присела рядом.

Ее присутствие беспокоило меня. Будь на моем месте моя мать, Анна или Лидия — они бы не стали стесняться посторонних в момент горя. Они бы по-бабьи голосили в полную силу, не считаясь с тем, в каком окружении находятся. Но я принадлежала к наименее русской части семьи Коул и с детства привыкла сдерживать эмоции. Присутствие Джейн мешало мне полностью отдаться своему горю. Я искоса взглянула на нее сквозь слезы. Закатный солнечный луч упал на ее рыжие волосы, и они блеснули золотом. Такое же сияние затем отдалось в мягком взгляде ее глаз, и я, невзирая на бремя скорби, была на миг заворожена этим эффектом.

Джейн вздохнула.

— Плачь сколько хочешь, я совершенно не против, но только позволь мне немного посидеть тут рядом, — сказала она. — Эх, как же это мне надоело!.. Почему-то всегда именно я должна делать такие вещи. Если бы до войны кто-то сказал мне, что я буду почти каждый день утешать человека, у которого кто-то умер, — я бы рассмеялась ему в лицо.

— Мне все равно… Пожалуйста… Оставьте меня… — заикаясь, выдавила я.

— Нет уж, лучше поплачь при мне. Я наблюдала за тобой — ты выглядишь ужасно замкнутой. Такие всегда все держат в себе. Ты из тех, кто ни за что не попросит о помощи, а забьется куда-нибудь в угол зализывать раны… так что лучше я пригляжу пока за тобой. Я просто посижу здесь. Не обращай на меня внимания.

Она терпеливо подождала, пока у меня кончится новый приступ рыданий, и сказала:

— Мне очень жаль… Это цинично, может, но… если ты проплачешь тут всю ночь, у тебя не будет сил завтра работать. Давай-ка вытри слезы и пойди поспи немного.

Судорожно всхлипывая, я помотала головой. Она опять некоторое время помолчала. Потом снова заговорила:

— На твоем месте я бы не стала оплакивать гибель семьи слишком поспешно. Все, что ты узнала сейчас, — лишь непроверенные сведения. Я бы не стала так безоглядно верить первому встречному. На войне случается что угодно. Не спеши плакать, пока не убедишься сама — пока не получишь подтверждение, что твоя семья погибла.

И тут ее слова стали как-то доходить до меня. Я начала прислушиваться.

— Война непредсказуема. Сколько людей теряют близких, а потом те вдруг находятся. Я отложила бы этот вопрос до конца войны. Это было бы самым разумным.

Она подвинулась поближе и взяла мои руки в свои.

— То, что тебе сказали, — всего лишь слух, одна из возможных версий. Можешь плакать сколько угодно, но гибель твоей семьи не доказана. Официальных подтверждений нет, — внушительно и уверенно сказала она.

Я обдумывала ее слова, вытирая бесконтрольно текущие слезы.

— Разве не могло случиться, что кто-то из твоих родных заболел и их высадили на берег до того, как затопили «Розалинду»?

— Да… Так тоже могло быть… По крайней мере я бы хотела надеяться… Но я не… не… — Новый приступ рыданий не дал мне досказать, что у меня не осталось сил верить в лучшее.

— Да, это нелегко… Нужна определенная дисциплина, чтобы жить надеждой. Ты должна научиться надеяться. И тебе будет легко это сделать, потому что ты молода.

— О, нет, это не имеет значения… Теперь ничто уже не имеет значения!..

— Нет, девочка, послушай, что я тебе скажу, — решительно прервала Джейн. — Мои родители умерли до войны. Мой муж умер в лагере. У меня нет ни дома, ни семьи. Мне сорок шесть лет, у меня прекратились месячные, вряд ли у меня когда-нибудь будут дети. И все же я заставляю себя смотреть в будущее, а не в прошлое. Прошлое — это пропасть, которая завораживает и тянет к себе. Нельзя все время оглядываться. Нужно учиться смотреть вперед. Надежда — это всегда взгляд вперед. У меня почти нет шансов надеяться на что-то. Но если даже я могу надеяться, то ты — тем более. Тебе всего двадцать лет. Ты найдешь свою семью, и у тебя все будет отлично.

Я молча слушала. Джейн почти убедила меня. Я уже почти не плакала и лишь изредка содрогалась от горловых спазмов.

Джейн еще немного подождала, пока я успокоюсь, а потом мягко заставила меня встать.

— О, как же это утомляет… как утомляет вся эта война… Ну хватит плакать, девочка, поднимайся. Завтра ты и я должны рано встать — а на кого мы будем похожи, если проплачем здесь всю ночь. Пойдем спать. Нужно держать фасон до конца. Мы должны все делать наилучшим образом, если собираемся дожить до конца войны и… найти свои семьи.

Я шла по коридору за Джейн. Я больше не плакала, а напряженно и в то же время рассеянно думала о чем-то. Мой мозг готовился проделать большую работу: научиться жить в двух состояниях, когда и веришь во что-то, и одновременно не веришь. Я на несколько мгновений опять задержалась у окна, выходящего в сад. Солнце уже зашло. За окном был печальный осенний вид. Джейн первой подошла к двери дормитория и остановилась, поджидая меня. Выражение ее глаз меня удивило.

— Не смей больше плакать по людям, как по умершим, если не знаешь наверняка, что они умерли, — почти яростно сказала она. — И всегда имей в виду: если стойко держишься, даже самые большие беды окажутся менее страшными. Никогда ничего не бойся. Никогда.

Позднее — уже после войны — вспоминая эту сцену, я поняла, что в тот момент она пыталась передать мне основной опыт своей жизни.

Разговор с Джейн Фокс подействовал на меня успокоительно. После него я больше не плакала. У меня снова появилась надежда. Нет смысла плакать, думала я, давайте дождемся конца войны, а там посмотрим. Так меня настроили слова Джейн Фокс.

Через две недели Джейн Фокс умерла в лазарете от тифа. Ее смерть, как ни странно вызвала у меня чувство, похожее на восхищение. Эта женщина никогда ничего не боялась. Ее удивительный характер — стойкость, бесстрашие и справедливость — сделал ее жизнь достойной, а смерть — легкой.

После смерти Джейн Фокс нашей старостой стала Айрис Паркер из гонконгской партии, бывшая директриса школы. Она обладала авторитетом, добросовестностью и прекрасными лидерскими качествами. Она была хорошей старостой и держала дела дормитория в надлежащем порядке. Но с Джейн Фокс она все-таки не могла сравниться. Это было уже не то, совсем не то.

Глава 12

Однажды, когда я возвращалась в дормиторий с вечерней переклички, японец надзиратель окликнул меня и приказал подойти. Я боялась их, этих мелких японских начальников. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Они легко могли избить и покалечить — просто так, из-за дурного настроения. У меня внутри все сжималось, когда они проходили мимо. Мне всегда хотелось, чтобы они меня не замечали. Я осторожно подошла и поклонилась как положено, надеясь, что это какое-то недоразумение и японец скоро отпустит меня восвояси.

Японец стал мне что-то говорить, показывая жестами, что мне следует куда-то идти с ним. Он вставлял в речь искаженные английские слова, которые я не могла разобрать от страха. Я пошла в указанном направлении, недоуменно оглядываясь на него и гадая, чего он от меня хочет и куда ведет.

Он привел меня в административный корпус. Я шла по коридору, испуганно кланяясь каждому встречному японцу. Мой сопровождающий остановился перед дверью с надписью «Комната Д». Это был офис администрации лагеря, интернированных лиц сюда водили только в исключительных обстоятельствах, в том числе для допросов. Японец указал на дверь и кивком велел войти. Тут я впервые проявила непослушание, потому что боялась туда входить — я не знала, что меня ожидало за дверью этого страшного помещения.

— Зачем? — спросила я. — Зачем мне туда входить? Это, наверное, какая-то ошибка…

Японец замахнулся, делая вид, что собирается ударить меня, и сам открыл дверь передо мной.

Мне ничего не оставалось, кроме как войти. Японец закрыл за мной дверь.

Комната Д — просторное помещение с большим количеством окон. За порогом я останавливаюсь и на всякий случай низко кланяюсь. После этого я позволяю себе оглядеться.

Я вижу японского офицера, сидящего у стола. Я снова низко кланяюсь ему. Он безмерно удивляет меня, когда поднимается навстречу.

Я с изумлением и испугом узнаю в нем своего поклонника из клуба. Тот самый японец. Немая сцена. Я делаю импульсивное движение, которое показывает, что мне очень хочется сбежать отсюда. Но я тут же спохватываюсь, останавливаюсь, снова кланяюсь и замираю, понимая, что попытки к бегству бесполезны.

Наш последующий диалог происходит на английском, с вкраплениями японских слов, которые я успела выучить в лагере.

— Добрый день, мисс Коул, — говорит он.

— Да, сэр… — отвечаю я.

— Прошу вас, садитесь. — Он указывает на стул.

Я испуганно мотаю головой.

— Прошу вас, пожалуйста, сэр, позвольте мне стоять…

— Тогда мне придется приказать вам сесть.

Я с неохотой подхожу к стулу и сажусь. Офицер тоже садится. Я смотрю в сторону, не решаясь взглянуть ему в лицо.

— Наше знакомство когда-то почти состоялось. Но, к сожалению, неудачно. Давайте будем считать, что мы уже знакомы. Меня зовут Акито Абэ.

— Да, сэр. — Я делаю неуклюжую попытку поклониться сидя.

Я не смотрю на него, но боковым зрением замечаю, что он пристально разглядывает меня. По бесцеремонной прямолинейности его взгляда я догадываюсь, что в условиях лагеря он отнюдь не собирается вести себя, как галантный поклонник из клуба. К тому же на его отношение ко мне накладываются этнические особенности: мне неизвестно, как относятся к женщинам японцы, и я подозреваю, что это отношение гораздо жестче, чем в феминизированной западной культуре или даже в проазиатской культуре моей русской матери. Что касается особенностей его личности, вне всех других факторов, то я и вовсе не знаю, каков он, этот японец, проявляющий ко мне такой настойчивый интерес.

— Скажите, как вам живется в лагере?

— Все хорошо, сэр… все в порядке, — поспешно отвечаю я.

— Вас довольно трудно было найти.

Я молчу. Что он хочет услышать в ответ? Что я радуюсь встрече с ним? Что ждала с нетерпением, когда он меня найдет?

— Я хочу вам помочь, мисс Коул. Один из моих знакомых учился вместе с начальником вашего лагеря. Думаю, у меня получится найти способ забрать вас отсюда.

Я упорно продолжаю молчать, догадываясь, на каких условиях мне обещают освобождение.

— Жизнь в лагере не слишком хороша для молодой девушки. Мисс Коул, вы ведь хотели бы оказаться на свободе, правда?

Я отвечаю не сразу, потому что не знаю толком, что следует сказать.

— Извините, сэр. Я… не знаю, как это возможно, сэр.

— Как все изменилось со времен клуба, правда? Тогда вы были блестящей девушкой со сцены, а я — одним из ваших верных поклонников.

«Что он хочет этим сказать? — сжимаясь, думаю я. — Наверное, он смеется надо мной, над моим униженным положением. Наверное, он хочет отомстить мне за то время, когда я старалась не замечать его».

Акито встает. Я тут же вскакиваю. Он подходит ко мне и заставляет сесть, удерживая за плечи. Затем он отходит, поворачивается и внимательно смотрит мне в лицо. Я продолжаю отводить взгляд.

— Сейчас мы вынужденно встретились как враги, как граждане воюющих держав. Тем не менее я остаюсь вашим верным поклонником, поверьте, мисс Коул. Я приложил усилия, чтобы найти вас, и приложу усилия, чтобы спасти вас.

— Я благодарна вам, сэр, но я не знаю… я не знаю, что вам сказать, сэр. Прошу, простите меня, — нервно отвечаю я.

— Вы боитесь меня?

— Я всего лишь простая интернированная, простите меня… — Я снова усердно кланяюсь сидя. — Прошу вас простить меня… прошу вас отпустить меня…

Снова пауза.

— Что бы я ни говорил, вы продолжаете твердить, что вы не понимаете меня и что вы всего лишь интернированная… Но вы ведь догадываетесь, о чем я говорю?

Я наконец беру себя в руки и поднимаю глаза.

— Нет, — более решительно отвечаю я.

— Мы не успели познакомиться в нормальных условиях. Вы бы узнали, что меня не нужно бояться. Это, конечно, жаль. Теперь придется сделать это, минуя условности. Я

собираюсь забрать вас из лагеря, мисс Коул. Сделать своей любовницей.

Снова пауза, в течение которой мы оба молчим, пристально глядя в глаза друг другу. Внутреннее противостояние двух воль.

— Я не могу себе этого представить, сэр. — Эти слова звучат наиболее выразительно за весь разговор. — Простите, сэр.

— Может быть, вы сейчас не можете это принять, но на самом деле так будет лучше.

Я упорно возмущенно молчу.

— Я вам не нравлюсь? Скажите мне — я приказываю вам.

— На свете есть множество женщин, достойных вашего внимания. А я всего лишь бедная интернированная, — отвечаю я.

Мне кажется, что я отвечаю с вызовом, но на самом деле мой голос дрожит.

— Вы не можете сказать, что я вам нравлюсь. Но вы не можете также сказать, что я вам не нравлюсь, правильно? Вы просто еще не знаете, как ко мне относиться. Это понятно, учитывая обстоятельства. Я мог бы забрать вас сейчас, но я приеду за вами на следующей неделе. Я хочу, чтобы вы привыкли к этой мысли.

— Разве это — не злоупотребление?.. тихо спрашиваю я.

— Злоупотребление.

— Разве это не запрещено? Разве такие отношения не запрещены в вашей армии?

— В японской армии часто смотрят сквозь пальцы на проступки высших чинов.

Я на миг задумываюсь, затем привожу новый аргумент.

— Я интернированная. Разве вы вели бы себя со мной так, если бы я была на свободе?

— Почему вы думаете, что нет? На свободе это просто заняло бы немного больше времени. И вы ведь так и не сказали, что я вам не нравлюсь.

У меня округляются глаза, я не нахожу, что ответить. Я с возмущением смотрю на Акито. Он сдержанно усмехается.

— Я вижу, вы умная женщина. Мне это нравится.

Я нервно хмыкаю: он раскусил меня, мое намерение выторговать себе право отвязаться от него существующими легальными способами; теперь я не могу больше использовать образ невинной девицы в беде. Хотя я, в общем, и в самом деле девица в беде, просто в данном случае мне отказано в праве воззвать к совести того, кто пытается воспользоваться моей слабой позицией. Мир жесток, и если хоть раз нарушишь правила, заданные теми, кто сильнее тебя, то пиши пропало. Все основные беды мира происходят от того, что ни тот, кто претерпевает страдания, ни его истязатель не понимают отчетливо, что они занимают места жертвы и мучителя.

- Как вы можете? Послушайте, у меня вши! Я с ног до головы грязная, от меня воняет! — Я говорю это, потому что мне уже нечего терять.

- Это ничего. Я вас отмою.

— Но я просто не хочу! Я не хочу быть вашей любовницей.

Он игнорирует этот возглас. Он оглядывает меня с головы до ног.

- Вы так исхудали… Впрочем, это тоже ничего. Подождите несколько дней. Вот, я привез для вас…

Он достает откуда-то небольшую аккуратно упакованную коробку и кладет ее мне на колени. Я молча смотрю на нее, не прикасаясь.

— Что это?

- Здесь немного продуктов.

- Нет, я не могу это взять… - беспокойно говорю я.

- Я понимаю, что этот подарок нельзя принимать. Я хватаю коробку, кладу на стол, без разрешения вскакиваю и снова кланяюсь, испугавшись своего своеволия.

- Пожалуйста, простите меня. Я не могу взять эту еду. Пожалуйста, позвольте мне уйти.

Акито смотрит на меня непроницаемым взглядом, затем идет к двери, зовет японца надзирателя.

— Отнесите это в дормиторий для этой женщины, — приказывает он надзирателю, указывая на коробку и на меня.

Когда надзиратель, поклонившись, удаляется, Акито говорит мне:

— Со мной вам будет лучше, чем здесь. Вы должны ценить меня, Айрини. Я ваш самый верный поклонник в мире, в котором у вас нет поддержки.

Я смотрю ему в глаза, пытаясь понять, что за человек передо мной, потом поспешно кланяюсь, бросаюсь к выходу, выскакиваю из помещения. Но когда я оказываюсь в относительной безопасности, за пределами административного здания, я сразу перестаю спешить и медленно иду к дормиторию в глубокой задумчивости, потому что пытаюсь осмыслить, что произошло и какими последствиями происшедшее грозит мне в будущем.

В дормитории все как обычно. Все занимаются своими делами. Несколько англичанок собрались в кружок и поют песни. Я пробираюсь к своей подстилке, надеясь в одиночестве хорошенько обдумать разговор с японским офицером.

На матрасе стоит коробка с продуктами. Ее вид шокирует меня. Я стараюсь не смотреть на нее и вообще забыть о ней поскорее.

Мои соседки проявляют интерес к коробке. Несколько женщин, переглядываясь, подходят, присаживаются рядом со мной.

— Что там у тебя? Тебе кто-то прислал продукты? — спрашивает одна, кивая на коробку.

— Может, там есть нитки, мыло? — деловито спрашивает другая.

Я так глубоко погружена в свои мысли, что не сразу понимаю, почему они меня дергают.

— Что?.. а-а… нет… не сейчас… — говорю я, выходя из глубокой задумчивости.

Я осторожно прикасаюсь к коробке, отодвигая ее подальше. Со стороны это выглядит так, будто я ее боюсь. Женщины снова переглядываются.

— Ты не хочешь посмотреть, что там?

— Нет-нет… Я устала… Я собираюсь спать… завтра… потом… — невпопад говорю я и делаю жест, как будто пытаясь отмахнуться.

— Тогда ты не будешь возражать, если мы сами посмотрим?.. Просто так, ради интереса… Мы все потом вернем — ок?..

Оглядываясь на меня, женщины быстро оттаскивают коробку в сторону и начинают жадно выяснять, что в ней. Они похожи на диких голодных зверьков. Я бессильно валюсь на матрас. Я по-прежнему в состоянии стресса. Я чувствую, что меня лихорадит, у меня страшный упадок сил. Я не могу сконцентрировать мысли, меня охватывают какие-то пугающие фантомы-символы, которые я не способна расшифровать своим беспомощным оцепенелым мозгом.

Немного погодя соседки возвращают коробку — осторожно кладут к моему изголовью.

— Позови меня, когда соберешься менять, хорошо?

— И меня… Я могу дать немного ваты за вот это…

Я обреченно киваю. Соседки возвращаются на свои места. Я накрываюсь с головой грязным одеялом в попытке изолировать себя от окружающей жизни.

Всю ночь я беспокойно верчусь на своем матрасе, не в силах отделаться от тягостных мыслей. На мне будто стоит печать проклятья. Я никому не могу рассказать, что произошло. Мне хочется спросить совета у Джейн Фокс или у Веры, но Джейн умерла, а Вера далеко. Мне нужно решать все самой. Единственная мысль, которая приходит мне в голову, — детская, романтически глупая мысль — бежать из лагеря.

Коробка с продуктами по-прежнему рядом. В первый раз я взглядываю на нее с интересом. Возможно, продукты пригодились бы мне для побега… Я приподнимаюсь, подтягиваю к себе коробку, пересчитываю и оцениваю то, что в ней находится, и до утра с ненормальной лихорадочностью вычисляю в уме, на сколько дней мне хватит этих продуктов, чтобы продержаться во время побега, пока я не доберусь до Шанхая, в родную Французскую концессию к Вере, которая меня спрячет и даст пристанище.

Конечно, это была безумная идея. Как бы я могла это сделать — беспомощная белая женщина, одна в оккупированном японцами Китае, за двести километров от Шанхая?

В любом случае, я не осуществила этот план.

На следующее утро я чувствовала себя совершенно разбитой. Меня поставили на дежурство в столовой. Сперва велели принести несколько ведер воды, но старшая по смене, заметив, что я с трудом таскаю ноги, отменила это задание и дала более легкую работу — присматривать за соевым варевом, которое готовили к обеду. Я должна была постоянно перемешивать его длинным черпаком. Во время этой процедуры у меня вдруг сильно закружилась голова, и я, уронив черпак в кастрюлю, прислонилась к стене, чтобы не свалиться. Черпак мигом исчез под серой бурлящей поверхностью.

— Ну вот, эта недотепа утопила черпак! — воскликнула моя напарница, наблюдавшая за мной от другой плиты. Она подошла и попыталась выловить мой черпак своим. Я смотрела на нее, с тоской сознавая, что смысл ее действий вдруг стал мне непонятен, а из ее облика испарились все цвета, как будто она была персонажем из кино. Потом ее фигура потемнела и стала расползаться, исчезать, сливаться с подступившей темнотой.

Откуда-то издалека послышался голос: «Осторожней, еще одна тифозная!..»

Я со стоном прихожу в себя в неизвестном месте. После определенного ментального усилия я соображаю, что это не лагерь, а чья-то довольно благоустроенная квартира. Рядом на стуле дремлет старая китаянка. Ее вид действует на меня успокоительно — я в силу своего происхождения с детства привыкла воспринимать китайцев как безотказную прислугу, с готовностью откликающуюся на любой зов о помощи.

— Пить… пожалуйста, дайте пить… — Я слабым хриплым голосом пытаюсь разбудить старуху, с трудом фокусируя на ней мутный взгляд.

Старуха просыпается, всматривается в меня, делает отрицательный жест, что-то быстро лопочет, видимо, объясняя, что пить нельзя. Я тупо смотрю на нее, затем, считая, что она не понимает мою просьбу, с трудом тяну руку к губам, иллюстрируя желание пить.

— Вода… вода… пить…

Старуха встает, берет носовой платок, смачивает в стоящей на столе миске с водой, выжимает его и плотно прикладывает его к моим губам. Я жадно пытаюсь высосать из материи влагу. После бесплодных попыток утолить жажду я отворачиваюсь, тяжело вздыхаю и снова впадаю в забытье.

Когда я снова прихожу в сознание, чувствую себя немного лучше. Я пытаюсь приподняться и оглядеться. Я вижу на столе графин с водой и хочу дотянуться до него, но у меня ничего не получается из-за сильной слабости. Я делаю последнюю попытку схватить графин, но опять промахиваюсь и сбиваю на пол миску с мокрыми платками и еще какие-то предметы. Дверь комнаты открывается, поспешно входит старуха сиделка. Она что-то сердито бормочет и ставит кувшин подальше от меня.

Пока старуха возится, устраняя беспорядок, входит Акито и садится рядом с постелью. Я гляжу на него в немом страхе и делаю безуспешную попытку приподняться и поклониться.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивает он.

— Хорошо, сэр, спасибо, — отвечаю я и удивляюсь бесплотной слабости своего голоса.

— Почему вы не ели продукты, которые я вам передал?

Я удивленно смотрю на него.

— Вы знаете, сколько вы пролежали без сознания?

— Сутки? — Я вижу по его взгляду, что это не так, и неуверенно делаю другое предположение. — Больше суток? Двое суток?..

— Девять дней.

Я ошарашенно молчу. Потом не нахожу ничего более умного, чем попросить прощения:

— Пожалуйста, простите меня…

— Почему вы ничего не ели?

— Откуда вы… знаете?

Акито сдержанно вздыхает.

— В любом случае, это обернулось к лучшему. Вы пережили тиф только потому, что голодали. Так сказал доктор.

Пауза.

— Прошу простить меня, сэр. Я готова вернуться к своим обязанностям.

— Ваша обязанность — поправиться и быть готовой к переезду в Японию. — Отвечая на мой изумленный взгляд, он поясняет: — Я отправлю вас в Японию через несколько дней. Вы будете жить в моей семье. Там вы будете в безопасности.

— Нет, не надо, — испуганно говорю я, забыв о том, что у меня нет права возражать.

— Если бы не я, вы бы умерли от тифа. Вам нужно выбрать, Рин. Пришла пора выбрать: я или лагерь?

— Прошу прощения, сэр… я бы хотела вернуться обратно в лагерь…

— Не будьте неблагодарной.

— Прошу меня простить… в лагерь… — упрямо повторяю я.

Я не такая уж героиня, как может показаться. Я просто уже привыкла выживать в лагере, а этот человек пытается навязать условия, о которых мне ничего не известно, и кто его знает, что меня ждет в далекой, пугающей и враждебной Японии. Если судить с такой позиции, я не только не героиня, а именно то, чем я являюсь: робкое и тихое создание, брошенное на произвол судьбы на просторах Второй мировой, которое просто имитирует сопротивление, пытаясь использовать свое эфемерное преимущество в вопросах выживания.

— Я понимаю ваше беспокойство, но это бесполезно, — терпеливо объясняет Акито.

Я упорно молчу.

— Давайте проведем переговоры, Рин. Разве есть кто-нибудь, кроме меня, кто мог бы позаботиться о вас?

Я продолжаю молчать.

— У вас нет никого. Я навел о вас справки. Ваши родные были эвакуированы из Шанхая в первые дни войны, но есть данные, что судно, перевозившее их, затонуло.

Я продолжаю молчать. Но это уже возмущенное молчание. Почему этот человек так свободно делает предположения о гибели моей семьи?

— Почему бы вам не положиться на меня? Без меня вы бы уже погибли. Вы бы умерли от тифа.

— Я бы хотела вернуться в лагерь, сэр… — бормочу я.

— Я предлагаю вам принять мои условия. Если вы откажетесь, я могу вас заставить. Подумайте над моим предложением. Поверьте, я не плохой человек.

Акито пытается прикоснуться к моему липу, но я отворачиваюсь.

— Я вам не враг. Война тяготит меня еще больше, чем вас. Давайте договоримся. Я вас отправлю в Японию. Вы будете моей личной военнопленной. Если война закончится благоприятно для вас: я не вернусь, и вы найдете свою семью — вы сможете уехать и жить где угодно. Если война закончится благоприятно для меня: вы не сможете найти свою семью, и я вернусь живым — вы останетесь со мной.

Я закрываю глаза, имитируя слабость.

— Вы ведь все равно одна, Рин. Доверьтесь мне. Будьте уверены — я человек, на которого вы можете положиться.

Что я могла сделать в такой ситуации? Во мне никогда не было ничего героического. Я всегда была типичным младшим ребенком в семье: слабым, тихим, неуверенным, — тем, за кого всегда кто-то из старших принимал решения.

Глава 13

Япония, порт Кобэ. Теперь мое имя Эмилия Рихтер. Так написано в документах, которые достал Акито Абэ, чтобы получить возможность переправить меня в Японию. По этим бумагам я значусь немкой из Чехии. Я не знаю, кто такая Эмилия Рихтер и какими путями ее документы попали ко мне. Когда я робко спросила Акито Абэ, не были ли эти документы получены каким-то криминальным способом, он коротко ответил, что любой подлог документов неизбежно связан с криминалом. Дальше я не решилась расспрашивать. Мне не нравится мое новое имя, и я надеюсь избавиться от него при первой же возможности.

Я спускаюсь на берег после двухдневного путешествия из Шанхая. Как бы ни страшило меня будущее на японской земле, я все же чувствую себя радостно возбужденной от возможности наконец-то вырваться из ограниченного пространства корабля. Только теперь я начинаю понимать, как устала от длительного пребывания взаперти, в условиях невозможности свободного передвижения: сперва в лагере, потом в постели во время болезни. Судно, перевозившее меня в Японию, было моей последней тюрьмой — по крайней мере, я надеюсь на это.

— Ну вот мы и добрались до земли! Господи, помоги пережить и это новое испытание! — громко и излишне театрально возглашает рядом со мной мужчина средних лет, глава семьи русских немцев. Этому семейству, как и мне, японские власти дали разрешение переместиться из Шанхая в Японию. Они утверждали, что в Японии проживали их родственники или, что более вероятно, члены их религиозной общины, которых они называли родственниками.

Мне претила их чрезмерная религиозность, но я вынуждена была держаться вместе с ними, потому что, кроме них, на судне не было белых людей. В этой семье было пятеро детей, из них я больше всего сблизилась со старшими — Лилой и Максом. Они были почти мои ровесники, уверенные, бойкие и, если узнать их получше, совсем не похожие на своих набожных родителей. Лила чем-то напоминала Веру. Я общалась с ней и ее братом на смеси русского и французского.

По прибытии в Японию нас, белых, сразу отправили на особый приемный пункт, где мы должны были получить бумаги, позволяющие передвигаться по стране.

Весь мой багаж умещался в одном маленьком чемодане, но у немецкой семьи были тяжелые вещи, и они попросили меня помочь донести их до приемного пункта. Пока мы вместе с Лилой и Максом волокли тяжелый сундук, к нам привязался японский подросток.

Он что-то протараторил и с глубоким поклоном всунул мне и Лиле по визитке и какой-то записке. Затем он снова поклонился в знак благодарности за то, что мы соизволили принять их, и скромно отошел в сторону.

В бумажке было написано на английском, немецком и французском, что некий местный фотограф бесплатно делает качественные фотопортреты белых людей и приглашает европейцев, прибывших в Кобэ, в свою фотостудию.

— «Если вы хотите совершенно бесплатно получить ваш качественный фотопортрет, пожалуйста, приходите в фотостудию господина Казо Тэрадзимы», — прочитал Макс, отобрав у Лилы записку.

— Как странно! Зачем они делают бесплатные фотографии? — удивилась Лила.

— Наверное, они продают их, как открытки, японцам, которые никогда не видели европейцев, — предположил Макс. — А может, это увлечение владельца фотостудии. У них тут белые люди — экзотика.

Сестра и брат сразу загорелись идеей бесплатно получить фотографии. Лила помахала рукой посланцу фотографа и жестами дала понять, что нас заинтересовало его предложение. Мальчик обрадованно закивал и последовал за нами, держась на почтительном расстоянии.

Мы притащили багаж к приемному пункту. Выход в город не был запрещен, и Лила с Максом тут же нашли предлог отпроситься у родителей на прогулку — они-де пойдут искать воду для питья и умывания.

— Эми, а ты не хочешь пойти с нами? — спросила Лила. — Мы с Максом собираемся к фотографу. Тот японец еще здесь — вон, смотри, — дожидается за дверями.

Я вздрогнула — я еще не привыкла, что меня называют чужим именем.

— Ну… не знаю, — сказала я неуверенно.

Вообще-то мне не следовало отлучаться из приемного пункта, потому что здесь меня должны были встречать люди из семьи Абэ.

— Разве тебе не хочется получить отличную собственную фотографию совершенно бесплатно? — спросил Макс самым искушающим тоном. — Ведь ты же можешь ее потом подарить своему избраннику! Или показывать в старости внукам доказательство, как ты была хороша в молодости.

Они подначивали и уговаривали меня и в результате уломали пойти вместе к фотографу. Мне ведь и в самом деле очень хотелось получить свою бесплатную фотографию, и моя голова кружилась от только что обретенной свободы.

Юный посыльный привел нас в фотостудию Казо Тэрадзимы. Мы по очереди написали свои имена в регистрационном журнале. Я расписалась по привычке «Ирэн Коул», потом спохватилась, но было уже поздно исправлять, и я махнула рукой на эту оплошность — ведь речь шла всего лишь о фотографии. В определенный момент впоследствии эта роспись оказалась решающей при некоторых событиях.

Открылась дверь в студию, оттуда вышла красивая молодая японка, а за ней появился сам господин Казо Тэрадзима, щуплый бойкий японец средних лет, инвалид, передвигавшийся на костылях. После довольно беспорядочных переговоров на всех известных нам языках мы узнали, что он когда-то специализировался на снимках моделей для рекламного бизнеса. Сейчас заказы на рекламу иссякли из-за войны, но господин Тэрадзима продолжал подыскивать подходящие типажи и практиковать из чистого энтузиазма.

Макс в последний момент смалодушничал и отказался фотографироваться — он почему-то вдруг решил, что господин Тэрадзима может продать его снимки в журналы для гомосексуалистов. Мы с Лилой тоже стали колебаться, но господин Тэрадзима подкупил нас предложением выбрать для съемки любой наряд из его коллекции платьев и костюмов. У него был огромный гардероб с разнообразной одеждой, современной и старинной.

Возня с нарядами и позирование в студии оказались для нас роскошным развлечением после изнурительного двухдневного перехода по морю. Господин Тэрадзима поклялся, что снимки будут готовы в ближайшее время и он передаст их нам через ассистента.

Оживленные этим маленьким приключением, мы возвратились в наш лагерь на пропускном пункте.

Там был небольшой переполох — двое невзрачно одетых японцев кого-то искали. Один

из них был подросток, второй — старик лет семидесяти. Старик с поклонами совал под нос всем входящим лист бумаги с именем того, кого они ищут, а юноша стоял у дверей и с отчаянием взывал к окружающим воплями, состоявшими из непонятных звукосочетаний, среди которых выделялось слово «ринсама».

Когда старик пристал ко мне, я вздрогнула и отшатнулась. Он что-то настойчиво говорил, но я сделала отрицательный жест, чтобы поскорей избавиться от него, и прошла на свое место в углу рядом с горой багажа семьи русских немцев.

Юный японец продолжал громко и безнадежно возглашать одно и то же обращение к пространству. Прислушавшись, я внезапно распознала в его речи искаженные слова «Эмилия Рихтер». «Ринсама» тоже стало понятным. Это было обращение ко мне: «Рин-сама». Рин — так назвал меня Акито Абэ.

— Рин? Ирэн Коул? Эмилия… э… Рихтер? Это, наверное, я, — спохватившись, неуверенно пробормотала я из своего угла за горой чужих вещей.

Оба японца как по команде обратились в мою сторону и немедленно устремились ко мне. Я испугалась — я боялась тогда всех японцев.

Они стали усиленно кланяться мне и что-то наперебой торопливо говорить. Я смотрела на них в полном остолбенении, не понимая ни слова, кроме «Рин-сама».

Видя, что я их не понимаю, они стали объясняться жестами, и кое-как до меня дошло, что они предлагают мне собрать вещи и идти вместе с ними. Я попыталась объяснить в ответ, что мне нужно дожидаться выдачи разрешительных документов, но они тут же предъявили мне эти бумаги — они уже сами получили их во время моего отсутствия.

Когда они выяснили, какие из вещей мои, они без лишних слов схватили мой чемодан, подхватили меня под руки и поволокли к выходу.

— Подождите! Что это? Что вы делаете? — в ужасе повторяла я, не смея даже повысить голос.

Но они лишь тащили меня за собой, что-то настойчиво приговаривая. Несмотря на формальную вежливость слуг из клана Абэ, вся сцена своей быстротой и внезапностью напоминала насильственное действие, похищение.

Через час мы трое уже были в вагоне поезда, идущего в западную часть Японии.

Я сидела напротив своих сопровождающих, испуганная и подавленная. Изредка я набиралась духу, чтобы взглянуть на них. Японцы сидели напротив и несколько в стороне, на максимально возможном удалении. Они тоже выглядели подавленными — даже между собой не разговаривали. Ни они, ни я не знали, как себя вести. Чтобы отвлечься, я все время смотрела в окно — там были видны поля, бедные жилища и унылые зимние пейзажи. Япония показалась мне очень скучной страной.

Мы доехали до Токио, но лишь для того, чтобы сделать пересадку на другой поезд, который шел на север. Токио подвергался частым бомбежкам и стал опасным местом для жизни. Многие токийские семьи отправляли женщин и детей подальше от столицы. Семья Абэ владела большой усадьбой в горах неподалеку от Токио — туда-то меня и везли.

В ночь перед моим приездом была сильная метель. Усадьба Абэ предстала передо мной сказочным занесенным снегом домом у подножья горы.

Я спускалась со своими спутниками по заснеженной дорожке к обширному деревянному строению внизу, в долине. Его очертания трудно было разглядеть из-под пышных сугробов. Из-за большого количества снега дом чем-то напоминал русские дома из историй о жизни в России, которые мать когда-то давно рассказывала нам по вечерам.

Впоследствии я думала: как странно, что типичный японский дом вызвал во мне воспоминания о неизвестной мне России. Впрочем, любой подобный дом напомнил бы мне Россию, в которой я никогда не была, — я ведь до этого никогда не видела заснеженные деревянные дома в лесу.

Я сделала неверное движение и левой ногой провалилась в сугроб. Я так и стояла несколько мгновений, внимательно всматриваясь в усадьбу в низине, замерев, забыв, что замерзаю в снегу. Теперь мне предстояло там жить. Что меня там ожидало? Как меня примут люди в этом доме?

Я думала: «Разве возможно, чтобы этот чужой заснеженный дом стал моим домом? Нет, это совершенно невозможно. Я ни за что не останусь здесь надолго. Это продлится лишь до тех пор, пока не кончится война».

Сверху было заметно, что в доме началась суета: несколько черных — на фоне ярко-белого снега — фигурок появилось из дверей. Моего прибытия определенно ждали.

Несколько позднее я иду по коридорам этого дома, в окружении встречающих меня японцев.

Затем я сижу по-японски за низеньким столиком напротив членов семьи Абэ. Передо мной множество японских лиц. Я напряжена, но заставляю себя улыбаться. Японцы тоже напряженно улыбаются и украдкой рассматривают меня. А я никого не могу разглядеть толком, потому что нахожусь в состоянии стресса.

Один из японцев обращается ко мне на относительно сносном английском:

— Э… сожалею, что госпожа прибыла в такое холодное время и не может видеть всю красоту здешней природы.

— Пожалуйста, не беспокойтесь… Мне все здесь очень нравится… сад очень красивый… — робко мямлю я и замолкаю.

Я бы хотела еще что-нибудь добавить, но мне больше не удается выдавить из себя ни слова. Я лишь беспомощно улыбаюсь, ловя сочувственную улыбку красивой молодой японки напротив. Женщина обнимает маленькую девочку, которая жмется к ней, наверное, дочку. Я стараюсь почаще останавливать на них взгляд, потому что они кажутся самыми приветливыми из всех собравшихся.

Японец продолжает беседу. Какие-то общие слова относительно красоты сада и местной природы. Я поддакиваю, вежливо соглашаюсь со всем, что он говорит. Члены семьи Абэ встречают каждое мое слово радостными улыбками и одобрительными восклицаниями.

После обсуждения природы японец наконец находит нужным представиться. Я узнаю, что он переводчик, приглашенный родственниками Акито Абэ, чтобы помочь им объясняться со мной. Когда до меня доходит, что мне предстоит жить одной среди людей, которые не понимают мой язык и чей язык я тоже не понимаю, мне становится трудней удерживать на лице улыбку.

Пожилой японец, которого я почему-то принимаю за отца Акито, произносит длинную тираду — по всей видимости, что-то вроде приветственной речи.

— Пусть госпожа не беспокоится. Мы все с большим пониманием относимся к вашему деликатному положению, — переводит его слова переводчик. — Времена сейчас нелегкие, но мы сделаем все, чтобы вы чувствовали, что этот дом ваш. Если у вас есть особые пожелания, пожалуйста, немедленно сообщите о них. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить их.

— Нет-нет, что вы… Простите, что причиняю вам беспокойство… Никаких особых

пожеланий… — смущенно отнекиваюсь я.

Пожилой японец что-то говорит переводчику. Тот подвигается ко мне и почтительно вручает лист бумаги.

— Чтобы избежать неловких ситуаций, здесь написаны по-английски имена всех членов семьи Абэ, — объясняет переводчик. — Пожалуйста, взгляните. Здесь все указано — имена и родственные связи. Этот список очень удобен для иностранца.

Всячески подбадриваемая японцами, я читаю вслух непривычные для меня имена.

— Абэ Тадаши…

Старенький японец, встрепенувшись, повторяет только что прочитанные мной слова на японский лад и тычет в себя пальцем со счастливой улыбкой, как будто невесть какое счастье — услышать от меня свое имя.

— Абэ Тадаши — прадедушка Абэ Акито, — поясняет переводчик.

Я почтительно кланяюсь прадедушке Акито и продолжаю, запинаясь, читать по списку:

— Абэ Шигеру.

— Абэ Шигеру — отец Абэ Акито. Сейчас его здесь нет. Он находится в Токио, где занимается делами.

Я киваю. Понятно. Отец Акито — влиятельный бизнесмен, руководит компанией, которая принадлежит клану Абэ. Кто я такая, чтобы он бросал из-за меня свои дела в Токио и приезжал знакомиться со мной?

— Абэ Масао…

— Абэ Масао — младший брат Абэ Акито, — поясняет переводчик. — Его тоже нет здесь. Он на войне.

Я снова киваю. На войне, понятное дело. Где же еще сейчас быть дееспособным японским мужчинам?

После того как заканчивается перечисление присутствующих и отсутствующих мужчин из клана Абэ, наступает очередь женщин. Оглядывая японскую сторону, я называю имена из списка. От слишком сильного нервного напряжения я начинаю быстро уставать и уныло думаю, что к концу церемониала совсем перестану различать лица и превращусь в механическую кланяющуюся куклу.

— Абэ Мэгуми…

— Абэ Мэгуми — мать Абэ Акито.

Я раскланиваюсь с Абэ Мэгуми.

— Абэ Казуко…

— …сестра Абэ Акито.

Я раскланиваюсь с сестрой Акито.

— Абэ Кёко…

Я встречаюсь глазами с молодой женщиной, которая откликнулась на имя Кёко Абэ. Эта та самая женщина, которую я в самом начале выделила среди незнакомых людей в комнате, потому что ее улыбка показалась мне доброй и искренней.

Я делаю долгую паузу, вчитываясь в определение этого имени в списке.

— Абэ Кёко… Абэ Кёко…

Абэ Кёко — супруга Абэ Акито, — предупредительно подсказывает переводчик.

Я роняю список и падаю навзничь в глубоком обмороке.

Глава 14

Сразу по приезде у меня случилась глубокая депрессия. Я не понимала своего места в мире. У меня хватило сил кое-как принять, что Акито отправляет меня в Японию, чтобы, возможно, жениться на мне впоследствии или, в крайнем случае, сделать меня своей любовницей. Но у него уже была жена! У него были жена и двое детей, сын и дочь. Как он мог?! Зачем он послал меня к своей жене? Зачем он так поступил со мной? Я без конца спрашивала себя, что я делаю в этой чужой стране, в чужой семье, среди людей, чью речь я даже не могу понять. Кто я теперь? Кем мне себя считать? Как мне жить рядом с женой Акито Абэ, которая знает, что мне предназначено стать любовницей ее мужа? Как мне смотреть ей в глаза, что мне ей говорить? Почему никто не посчитался с моим желанием быть приличной женщиной, с тем, что у меня тоже есть какие-то моральные принципы?

Мне хотелось умереть.

Я лежу на футоне в полной прострации. Я уже несколько дней так лежу — не ем и не пью. Лишь изредка встаю, чтобы справить естественные нужды.

Входит служанка, кланяется, ставит у моего изголовья поднос с едой. Там уже стоит поднос с нетронутыми мисками, которые она принесла мне в прошлый раз. Она что-то говорит мне, жестами пытаясь обратить мое внимание на еду, очевидно, упрашивает поесть, как ей приказали хозяева. Но мне все равно. Вероятно, служанка боится меня. Она слишком примитивно имитирует, как огорчена и растеряна. После недолгих укоризненных возгласов и уговоров она забирает нетронутую еду и поспешно выходит.

Мне все равно. Я продолжаю неподвижно лежать, уставившись отсутствующим взглядом в пространство японской комнаты.

Пару раз кто-то из обитателей дома приоткрывает дверь и осторожно заглядывает. Я не реагирую на их присутствие.

Кёко, жена Акито, приходит несколько раз в день, пытаясь уговорить меня поесть. Она, единственная из всех в доме, кто знает немного по-английски и неловко употребляет разговорные клише из учебника английского языка в своих обращениях ко мне.

— Прошу вас, будьте любезны, встаньте и поешьте, госпожа. Вы давно не ели. Это плохо. Еда — это хорошо. Еда очень полезная и вкусная. Вы должны есть еду. Все люди едят еду, — примерно так она пытается по-английски на разные лады аргументировать свои соображения о том, почему я должна есть.

Кёко — единственный человек, на которого я немного реагировала. Но это была отрицательная реакция. Я не хотела видеть эту женщину, не хотела ничего знать о ней. Когда она приходила и садилась рядом, я отворачивалась или закутывалась с головой в одеяло.

Однажды в комнату вошел ребенок. Юки, трехлетняя дочь Кёко. Она вошла и приблизилась ко мне неслышно, как кошка или ангел. Я заметила ее, только когда она была уже совсем рядом, — она стояла у моего изголовья с миской в руках.

Девочка с улыбкой стала лепетать слова «еда» и «ешь» на искаженном английском — наверное, это Кёко подучила ее, что нужно говорить. Миска покачивалась перед моим носом.

Я рывком села на постели, не зная, как поступить.

— Еда… еда… — продолжала бормотать Юки, улыбаясь.

Безмятежность ее улыбки встряхнула меня. Мне стало стыдно. Я — это я, а ребенок — это ребенок, и совершенно незачем этой доброй и милой малышке знать, что я не в себе и намереваюсь умереть.

Я вынуждена была принять миску с едой, потому что боялась обидеть девочку. Я так и держала миску в руках, не зная, что делать дальше. Юки приветливо кивала мне, улыбалась и все повторяла свое «еда… еда…»

Еда. Очень вкусная еда.

Я начинаю есть. Я очень голодна и ем все быстрей. Потом я начинаю плакать, стараясь изо всех сил сдерживаться, чтобы не испугать ребенка, вздыхая и вытирая слезы, текущие по щекам. Периферией затуманившегося от слез зрения я отмечаю, что в комнату поспешно входят Кёко и служанка. Кёко обнимает дочь, что-то ласково говорит ей и передает в руки служанки. Та быстро уводит девочку.

Кёко остается. Она садится рядом с футоном, кланяется мне, радостно улыбаясь или, может быть, имитируя радость.

— О, Рин-сан ест!.. Я так рада!.. Рин-сан такая любезная!..

Я поняла, что умереть мне не удастся. Эта женщина нашла способ пресечь мои попытки. Моя воля оказалась слабей, чем воля этой женщины. Она настолько желала, чтобы я продолжала жить, что даже рискнула своим ребенком.

И я кое-как собралась с силами, чтобы жить дальше. Я стала приноравливаться жить среди этих людей, которые напоминали мне обитателей другой планеты, да к тому же считались моими врагами в этой бесконечной войне.

Потом, позднее — через несколько месяцев, — когда я начала немного говорить по-японски, жизнь этой семьи стала наполняться смыслом в моих глазах, а окружающие люди индивидуализировались достаточно для того, чтобы я могла определить свое к ним отношение.

Японскому языку я научилась от Юки. Считалось, что я учу ее английскому и французскому, но на самом деле все было наоборот: она заставляла меня играть с ней, и во время этих игр я и набиралась от нее новых выражений.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Однажды Кёко и мать Акито вызвали меня в главную комнату, где они принимали гостей — двух довольно европеизированных японцев. Они были представителями местной киностудии и явились к нам с необычным предложением: они, мол, прослышали, что в доме живет иностранка, и хотели бы привлечь эту иностранку для роли иностранки же в своей кинокартине. Так, по крайней мере, я поняла из тех слов, смысл которых с пятого на десятое доходил до меня из церемонного разговора с гостями.

Мэгуми-сан, взглядывая на невестку, стала рассказывать официальную легенду моего пребывания в семье: Рин-сан живет на положении учительницы; она обучает детей иностранным языкам.

— Мы хотим, чтобы дети имели представление о правилах жизни за границей. Война когда-то кончится, люди начнут больше ездить. Мы хотим подготовить детей к возможным поездкам за границу.

— Это совершенно правильное отношение к жизни, — почтительно поддакнул режиссер. — В некотором роде наша кинокомпания тоже хотела бы дать людям представление о жизни за границей. Именно поэтому мы пришли просить вас о помощи.

Нельзя ли сделать так, чтобы ваша Рин-сан поучаствовала в съемках нашего фильма? Нам как раз нужна женщина с европейской внешностью. Европейцев сейчас так мало в Японии… Спасибо, что согласились выслушать предложение от нашей киностудии.

Возникла пауза. По взглядам, которые Кёко и Мэгуми-сан бросали в мою сторону, я наконец поняла, что все присутствующие в комнате ждут, чтобы и я высказалась о предмете разговора. Как обычно, я совершенно растерялась. Я не знала, следует ли мне согласиться или отказаться. Все японские слова мигом вылетели из головы.

Чтобы скрасить замешательство, Кёко сказала:

— Прошу простить нас, но Рин-сан пока еще не очень хорошо знает японский…

— Это не имеет значения. Для ее роли не требуется слов. Если бы вы убедили Рин-сан поучаствовать, я уверен, это было бы для нее хорошим опытом жизни в Японии, — ответил режиссер, обращаясь скорее ко мне, чем к Кёко.

Я наконец собралась что-нибудь ответить, но Кёко взяла инициативу в свои руки.

— Возможно, Рин-сан было бы интересно ваше предложение. Она пока еще не привыкла здесь жить. Я думаю, ее немного приободрят новые впечатления, — сказала она.

— Кроме того, обратите внимание, что за свое любезное участие Рин-сан могла бы получить от нашей студии некоторое материальное вознаграждение, — добавил режиссер.

Упоминание о «материальном вознаграждении» перевесило все колебания. Это были очень голодные времена.

— Скорее всего, Рин-сан согласится помочь вам, — решительно сказала Кёко.

Даже для такой влиятельной семьи продукты, которые я могла заработать своей внешностью белой женщины, были бы большим подспорьем.

Я сижу перед зеркалом в гримерной студии с видом человека, покорившегося судьбе. Гримерша готовит меня к съемкам, энергично насаживает парик, подпудривает, подводит глаза. Я снова кажусь себе безжизненной куклой, которую каждый может вертеть как вздумается, по своему соизволению.

На съемочной площадке очень жарко. Режиссер тоже обращается со мной, как с куклой: дает краткие отрывистые указания, в какую сторону пойти, куда посмотреть, какое сделать выражение лица. Как обычно, я теряюсь в незнакомом шумном месте, становлюсь неловкой, путаюсь — даже опыт ночного клуба куда-то моментально исчезает, как будто его и не было. Картина будет слабенькой, проходной; ее делают по заказу идеологического отдела. Но японцы выкладываются изо всех сил. Кадры с моим участием даются нелегко и мне, и другим. Когда съемка заканчивается, режиссер благодарит меня, даже хвалит, но я вижу по его лицу, что он намучился со мной и рад поскорее распрощаться. Я, собственно, и не рассчитываю получить чье-то признание или вызвать чьи-то дружественные эмоции.

Откуда-то со стороны кто-то громко хлопает и что-то кричит. Я сперва не обращаю внимания, думая, что это не ко мне. Но аплодисменты и поощрительные возгласы не прекращаются. Я смотрю туда, откуда они доносятся, и вижу в дальнем конце площадки Кёко с детьми.

Когда я замечаю их, Кёко радостно улыбается, машет мне рукой и хлопает еще сильней, заставляя детей тоже махать и хлопать. Я чувствую, что у меня перехватывает горло от внезапно подступивших слез. Почему-то именно в этот момент я глубоко осознаю, насколько Кёко добра ко мне. Совершенно беспричинно добра.

Я всегда сторонилась ее до этого момента, как бы доброжелательно она ни относилась

ко мне. Я никогда не верила в ее искренность. Неизвестно, что у этих восточных женщин на уме. Они могут вам улыбаться, но на самом деле желать вам смерти. Тем более если такая женщина — жена человека, который высказал намерение сделать вас своей любовницей. Я ведь и сама выросла в дальневосточной Азии и кое-что знаю о таких вещах. Даже когда Кёко подговорила своего ребенка подойти ко мне с миской еды, я не поверила, что она желает мне добра. На свете есть слишком много ревнивых женщин, которые готовы пожертвовать даже своим ребенком лишь ради того, чтобы найти способ усыпить бдительность соперницы. Китайская любовница моего отца была именно такой, если верить рассказам матери.

Кёко, конечно, взялась с детьми сопровождать меня на киностудию, чтобы присмотреть за мной, но я отнеслась к этому настороженно. Мало ли, может, она просто хотела проследить, не сбегу ли я по дороге и не оставлю ли семью без «материального вознаграждения», обещанного представителем отдела пропаганды, или не ляпну чего-нибудь случайно на английском, в то время как все уверены, что Эмилия Рихтер говорит только по-немецки. Но когда я увидела, как она усердно хлопает и радуется моим скромным успехам, моему удачно завершенному труду, в моем сердце что-то сместилось. Я просто поверила ей — да и все. Точно так же как я поверила Вере и Джейн. Они и Кёко относились к разряду безусловно добрых людей, которым подобные мне создания должны доверяться без лишних раздумий, помогать во всем, поддерживать во всех начинаниях, везде следовать за ними.

Я слабо улыбнулась ей в первый раз — когда она изо всех сил хлопала и поощряла меня издалека и заставляла своих детей тоже хлопать моим ничтожным актерским потугам. Мне пришлось подавить слезы — слезы стыда. Мне было стыдно за себя. Мне было стыдно, что я вела себя, словно животное в дикой природе, не умея распознать доброе отношение.

Когда мы вернулись домой, Кёко с торжествующим видом предъявила домочадцам большую жестяную коробку с продуктами — оплату моего участия в съемках. Такое событие не могло пройти незамеченным.

— О!.. Рин-сан столько заработала!.. Здесь столько вкусного!.. Мало кто может заработать столько в такое трудное время! — триумфально приговаривала Кёко, распаковывая коробку на столе в кухне в присутствии всей семьи.

Я стояла тут же, рядом с заработанным, как живое свидетельство, предъявляемое всякому, кто желал бы узнать о происхождении этих продуктов.

— Пожалуйста, примите это от меня… Я буду рада, если вы будете есть всю эту еду. Пусть она достанется всем… — смущенно, на ломаном японском сказала я.

Дети были первыми, кто проявил активный интерес.

Юки подошла и стала рассматривать содержимое коробки.

— А что там?.. — спросила она, потянувшись к упаковкам с булочками из прессованного риса с водорослями.

— На, возьми и съешь, Юки-чан. Рю-кун, иди сюда. Ты тоже поешь немножко. — Я протянула детям по булочке.

Они цапнули их и мигом унеслись из кухни, словно маленькие зверьки, которым посчастливилось удачно ухватить добычу. Их непосредственность сняла неловкость взрослых. Женщины принялись разбирать коробку и хвалили меня за старания на благо семьи.

— Нам повезло, что Рин-сан живет с нами и заботится о нас, — энергично восхищалась Кёко, побуждая окружающих сказать доброе слово о моих достижениях.

— Рин-сан хорошо потрудилась. Она выполнила важную работу. Рин-сан очень способная, — сказала старая служанка. Она терпеть меня не могла, но в тот раз похвалила скрепя сердце.

После этого случая мы с Кёко сблизились. Я стала ей доверять. Некоторое время я еще пыталась задаваться вопросом, почему так добра ко мне эта чужая женщина, которую к тому же по общепринятым меркам следовало считать моей соперницей. Почему она всегда поддерживала меня, ободряюще улыбалась мне, переживала за меня?.. И еще меня мучило то, что я не знала, как отнестись к ней. К счастью, мне довольно скоро надоело об этом размышлять. Я приняла как данность, что Кёко просто добра по своей природе.

Потом, позднее — уже после того, как объявили капитуляцию и вся семья вернулась в Токио, — Кёко как-то раз даже спасла меня от смерти.

После капитуляции всю Японию охватила скрытая волна враждебности к иностранцам. Японцы тихо ненавидели не только американцев, но и вообще всех белых. Появляться на улице было опасно. Из-за бесконечного сидения взаперти и неопределенности будущего у меня возобновились приступы тоски. Кёко, желая разнообразить мое существование, изредка брала меня в поездки в город. Она тогда увлекалась спиритическими сеансами и ездила по вторникам к медиуму. Каждый вторник она спрашивала у духа какой-то почтенной родственницы, как идут дела у Акито и когда он вернется. Акито тогда находился в плену у американцев.

Медиум жила на мрачной и грязной окраине, разбитой бомбежками. Шофер отца Акито привозил нас прямо к дому и увозил обратно, так что не было причин беспокоиться о нашей безопасности. Но однажды группа взъерошенных подростков подкараулила нас у входа. Наш автомобиль стоял рядом, за углом, но, чтобы добраться до него, следовало пройти по пустынному проходу. Вот там-то они нас и подстерегли. В мгновение ока окружили. Я даже не успела заметить, откуда они появились. Стайка худющих оборванных чертят с закопченными от грязи злыми лицами. Они напоминали демонов из японских сказок. Вероятно, они обратили внимание на мою европейскую внешность в другие наши приезды к медиуму и уже давно замышляли нападение.

Я была так заворожена их внезапным появлением, что просто остановилась как вкопанная и смотрела, как они приближались со всех сторон с палками в руках. И с места не сдвинулась. Им ничего не стоило забить меня до смерти. Кёко же мигом осознала опасность. Она загородила меня, раскинув руки.

— Эта иностранка — как она смеет тут жить? Как она смеет ходить по нашим улицам?! Мы убьем ее! Проклятые иностранцы! — отрывисто выкрикивали они, размахивая палками.

Улучив момент, Кёко оттеснила меня к ограде. Она продолжала заслонять меня своим телом.

— Чего вы от нас хотите? Мы просто две женщины, которые зашли проведать знакомую. Если хотите кого-то побить — лучше побейте меня!

Подростки то и дело дергаными движениями прыгали в нашу сторону, но тут же отскакивали. Им пока не хватало духу наброситься на Кёко.

— Эта девушка даже не понимает вас. Она ни в чем не виновата. Пожалуйста, не надо, не трогайте нас…

Кёко говорила достаточно громко, чтобы звуки ее тонкого голоса могли донестись до шофера, ожидавшего нас где-то неподалеку.

Она выиграла достаточно времени. Из-за поворота с угрожающим криком выскочил

шофер, готовый нас защищать. Подростки разбежались. Не так-то уж и страшны они оказались.

— Ублюдки! В следующий раз вы так легко не отделаетесь! — яростно прокричал им вслед наш защитник.

Он повернулся к нам и стал оправдываться, усердно кланяясь:

— Прошу простить, дамы, что позволил вам одним ходить в таком опасном месте. Прошу меня простить за оплошность! Надо было встретить вас у дверей. Этим мальцам лишь бы побезобразничать!

По-видимому, он опасался, что из-за случившегося может потерять работу.

Кёко оглянулась на меня, радостно улыбнулась, как умела улыбаться только она, схватила за руку, увлекла, не теряя времени, к автомобилю.

— Я так испугалась за вас, Рин-сан. Как хорошо, что все обошлось.

Я последовала за ней, беспрерывно спотыкаясь. Я только сейчас почувствовала слабость от страха.

Шофер шел за нами, продолжая виновато бормотать о том, что из-за войны молодежь совсем отбилась от рук.

Кёко очень ждала возвращения Акито. Это было понятно: она ждала своего мужа с войны. Я тоже ждала возвращения Акито. Но мое ожидание было не таким, как ожидание Кёко. Я ждала его, потому что надеялась, что с его прибытием наконец все разрешится; запутанность моей жизненной ситуации, неразбериха с именем и семьей, тягостная бесцельность жизни среди чужих людей, — все, все мои проблемы тут же бы разрешились, лишь только он ступил на порог. Или, по крайней мере, что-то бы тронулось с места, что-то начало бы происходить с его появлением. Его приезд поставил бы точку на войне и на всем, что было с ней связано. Так я считала. Хотя он находился в плену, он по-прежнему был в моих глазах всемогущим существом, способным отменять или обходить любые препятствия. Он смог спасти меня из лагеря, уберечь от смерти, изменить мне имя и национальность, отправить за море — он способен и на многое другое, думала я.

Он обещал помочь найти моих родных, рассуждала я, значит, он обязательно это сделает. В то, что моя семья, вероятно, давно погибла, я по-прежнему не желала верить. Точнее, я и верила этому, и не верила. Не то чтобы я совсем не допускала такой возможности — у меня было достаточно времени притерпеться к этому факту, — но в моем сознании произошел какой-то странный сдвиг, который позволял считать мою семью одновременно и погибшей, и живущей. Обе эти противоречивые возможности — смерть и жизнь — оказались не просто равно-допустимы в моей голове, а сосуществовали на равных.

Был также еще один важный вопрос, который только Акито мог разрешить. Этот вопрос я могла задать только ему: зачем он послал меня в Японию и почему вся семья приняла мое появление как должное, несмотря на то что у Акито была жена. Это напоминало сговор. Должна была существовать какая-то причина. О причине, похоже, знали все домашние, включая Кёко, но молчали, а я не смела никого спросить. Поинтересоваться у Кёко: «Кёко-сан, зачем твой муж отправил меня сюда?» — нет, упаси бог, это была самая невозможная вещь на свете. Но такой вопрос отходил в сторону, пока для меня оставалась вероятность вернуться в счастливый мир, где сохранилась и продолжала благоденствовать моя семья.

В январе сорок шестого года Акито вернулся.

Я сидела с Юки, помогала ей рисовать. К нам заглянула Кёко и сообщила, что Акито

возвращается на днях.

Вот тут я и испугалась по-настоящему. Запоздало испугалась. Я поняла, что мне не следовало ждать его приезда. Наоборот, надо было как можно сильней бояться этого. Я поняла, что возвращение Акито неизбежно разрушит мои иллюзии. Надо было молиться, чтобы он никогда не вернулся или чтобы момент его возвращения оттянулся на неопределенно долгое время, на вечность. Безмятежная жизнь в привычном окружении, с людьми, которых знаешь с детства, — скорее всего, ничего из этого уже больше никогда не будет, и если я раньше лишь смутно и довольно нецельнооформленно предполагала, что такое может быть — да и то с очень небольшой долей вероятности, то теперь — с возвращением Акито — это предположение должно было очень быстро развиться в грубые формы реальности.

— Рин-сан, разве ты не рада? — посчитала нужным уточнить Кёко, видимо, заметив, как я изменилась в лице.

— Рада, — безнадежно сказала я.

А что еще я могла бы сказать в подобных обстоятельствах? Мне ничего не оставалось, как принять происходящее и снова поплыть по течению. Я всегда плыла по течению.

Предстоящий приезд Акито четко обозначил, что, скорее всего, во всем мире у меня не осталось никого из родных.

В окно я вижу, как к дому подъезжает автомобиль, останавливается, из него выходит Акито. У дома его встречает отец — тот самый Шигеру-сама, который, когда я прибыла в Японию, находился в Токио, занимаясь делами, еще не старый мужчина, жесткий, властный и не терпящий лишних слов.

Он очень напоминает мне Акито, и я стараюсь как можно реже показываться ему на глаза.

Отец и сын входят в дом. Далее, как я предполагаю, следует встреча с членами семьи — с разной степенью эмоциональности, но в рамках диапазона чувств, допустимых в аристократических японских семействах. В это время я обреченно спускаюсь вниз из своей комнаты, потому что нет и речи о том, чтобы я не вышла поприветствовать человека, от которого зависит мое существование.

Акито вскользь здоровается со мной, проходя мимо.

— Здравствуйте, Рин-сан, — говорит он по-японски.

Я отвечаю на приветствие и кланяюсь, стараясь не встречаться взглядом. Боковым зрением я фиксирую, что он как-то особенно взглядывает на меня, прежде чем отойти. Этот взгляд подтверждает, что в ближайшее время мне не уйти от решения застарелой проблемы.

Прошло два дня. Акито едва замечал мое присутствие. Один раз, проходя мимо той части дома, где жили он и Кёко, я слышала, как Кёко что-то настойчиво и страстно говорит ему: то ли предлагает, то ли упрашивает.

«Не надо! Я поговорю с ней!» — слышен голос Кёко.

«Не смей вмешиваться! Это тебя не касается!» — кратко и зло отвечает жене Акито.

Они наверняка говорили обо мне. Я была в этом уверена. Я обратила внимание, что невольно сжимаю плечи, когда слышу его голос. На какую-то долю секунды в голове мелькнула глупая мысль, что меня снова отправят в лагерь. Но я сразу опомнилась. Нет, это уж слишком. В лагерь меня не отправят, лагеря больше не существует. Но все равно тон Акито ничего хорошего не обещал. Слишком непреклонно звучали его слова. И слишком

была расстроена Кеко, которая — я знаю — всегда готова встать на мою защиту.

На следующий день Акито появился в той части дома, где жила я. Я испуганно вскочила и низко поклонилась, когда он вошел. Можно было уже не кланяться, можно было поздороваться по западному образцу — ведь война давно закончилась. Я поклонилась машинально, по привычке.

— Мы давно не виделись, Рин-сан, не так ли? — сказал он по-английски после небольшой паузы.

— Да-да, — поддакнула я.

Виду меня был, как у затравленного зверька.

Акито молча разглядывал меня.

— Мне сказали, что вы уже научились говорить по-японски. Я рад, что у вас такие прекрасные способности к языкам.

Я почувствовала, что он недоволен тем, как началась наша встреча.

— Я очень рада, что вы вернулись домой, Акито-сан.

Поскольку он продолжал молчать, я неловко попросила:

— Пожалуйста… скажите, что вы собирались сказать, Акито-сан.

Эти слова прозвучали грубо, но, кажется, Акито не обратил на них внимания.

Он протянул мне бумаги, которые держал в руках.

— Вот, прошу вас. Здесь данные о корабле «Розалинда». Здесь также есть информация о ваших родственниках.

Я взяла документы и тут же отложила их.

— Вы не хотите посмотреть?

— Я… наверное… я уже знаю, что там, — призналась я.

Несмотря на все свои фантазии, я все же оставалась здравомыслящим человеком. Голос разума подсказывал, что моя семья не могла не погибнуть при тех обстоятельствах.

— Я сожалею, — сдержанно сказал Акито. — Вы остались без семьи. Очень жаль. Но у вас есть люди, которые о вас позаботятся, Рин-сан. Когда вы будете готовы обсуждать это, дайте мне знать.

Я поняла, что пришла пора выполнять вторую часть «договора».

Не дождавшись от меня ответа, он повернулся, чтобы уйти.

— Погодите, Акито-сан… Почему вы не сказали, что у вас есть семья?

Акито медленно повернулся, мы встретились с ним взглядом. Я мгновенно вспомнила свое положение в лагере. Между нами тут же восстановились отношения захватчика и пленницы. Похоже, его это устраивало.

— Разве это что-то бы изменило? Я не сообщил вам об этом, чтобы избавить вас от ненужных колебаний, — сказал он со своей обычной прямотой.

— Но… как я должна теперь понимать свое положение в вашей семье? Кем мне себя считать?

— Раз уж вы сами заговорили об этом, я объясню вам, — ответил он. — Я несколько лет учился в Америке и собирался жениться на американке. Но мой старший брат умер. Семье нужен был наследник, который возглавил бы бизнес. Кроме того, я должен был жениться на японской девушке, которую мне выбрали. Мой отец вынудил меня бросить мою американскую невесту. С моим отцом трудно спорить. Отношения в японских семьях не такие демократичные, как у вас на Западе. Фактически мой отец сломал мою судьбу. Я понимаю его, но простить его я не могу.

Он помолчал, потом повторил:

— С моим отцом трудно спорить. Он сложный человек. Но и я сложный человек, и со мной тоже трудно спорить. Мы договорились, что я приму его условия, только если за мной останется право привести в дом любую женщину, которую я выберу для себя сам. И моя семья, и семья Кёко знают об этой договоренности. И вот тут появляетесь вы. Вы — женщина, которую я выбрал. Все остальные обязаны принять это решение. Считайте себя местью, которую я выбрал для своей семьи. Конечно, я предпочел бы, чтобы на вашем месте оказалась та американская девушка, но раз это невозможно, то теперь вы — наилучший вариант.

— Но ведь это очень жестоко… Разве вы не считаете, что это очень жестоко? — только и сказала я, содрогнувшись от унизительного сравнения с его американской невестой.

— Я думаю, что вы преувеличиваете. Ваше положение не так уж плохо, Рин-сан… По сравнению с тем, что вас могло ожидать, окажись вы совсем одна. Вы согласитесь со мной, если подумаете об этом.

Он пристально посмотрел мне в глаза. Я по привычке отвела взгляд. Акито вышел.

Несколько следующих дней я была как потерянная. Юки дулась на меня. Во время игр с ней я стала слишком рассеянной и уходила в свои мысли настолько, что переставала замечать ее присутствие. С приездом Акито я вновь ощутила вокруг себя незримую атмосферу лагеря. Я не могла больше выносить сидение в комнате, так как она все больше напоминала мне одиночную камеру. Из-за этого я стала самостоятельно выбираться на небольшие прогулки, хотя по-прежнему не решалась уйти далеко.

Кёко все это время незаметно наблюдала за мной. Один раз, когда я в своих блуэвданиях слишком удалилась от дома, она сильно удивила меня, неожиданно догнав и потребовав вернуться.

— Рин-сан! Рин-сан!.. пожалуйста, не уходи одна! если хочешь погулять, возьми кого-нибудь с собой, — проговорила она, задыхаясь от бега.

Я с изумлением смотрела на нее. Она так спешила вернуть меня, что выскочила из дома в туфлях на босу ногу.

— Ох, я совсем разучилась бегать… А ведь в школе я была такой спортивной… — уцепившись за меня для равновесия, она стянула стоптанную туфлю и стала легонько колотить ею об ограду, чтобы вытряхнуть камешек.

— Кёко, ты знаешь про договор Акито-сан с его отцом? — спросила я.

— Да. Я рада, что это оказалась Рин-сан, — просто ответила она, прыгая на одной ноге и продолжая выколачивать туфлю.

— Но это жестоко… Это же жестоко….

Она неловко надела туфлю, распрямилась и взглянула на меня.

— Рин-сан, мы с тобой слабые женщины. Судьба всегда жестока со слабыми. Но и мы всегда можем делать выбор. Что бы ты ни выбрала сейчас — это будет только твое решение. Но я рада, что это оказалась ты. Пожалуйста, больше не уходи одна. Я беспокоюсь. Ты же знаешь, какое отношение к иностранцам. Вдруг с тобой случится что-нибудь плохое…

Я поняла, что она имела в виду. Мне действительно нельзя было уходить далеко от дома. Или нужно было уйти окончательно и самой разбираться со своими проблемами. Я должна была сделать выбор. Я была слабым человеком, и мне пришлось признать это. Но по крайней мере я была достаточно решительна, чтобы больше не медлить.

На следующий день я пошла к Акито и сказала, что хочу с ним поговорить. Он сидел на диване и читал какие-то бумаги. Он совершенно не удивился моему приходу.

— Пожалуйста, скажите, что вас беспокоит, Рин-сан, — сдержанно сказал он.

— Акито-сан… Мое положение такое сложное… Пожалуйста, прошу вас, позаботьтесь обо мне… — пробормотала я.

Он мог торжествовать победу. Впрочем, я не уверена, что победа над таким жалким существом, как я, могла кому-то принести моральное удовлетворение.

— Вы можете не беспокоиться, Рин-сан. Разве в ваших глазах я поверхностный человек?

— Нет, это не так.

— Подойдите сюда, Рин-сан… — тихо и властно сказал он и похлопал рукой по дивану, словно подзывал дрессированное животное. — Сядьте сюда.

Я нехотя подошла и села. Мне было сильно не по себе.

— Я понимаю ваше беспокойство. Доверьтесь мне.

Я молча кивнула. Акито поднялся, подошел к небольшому бару, достал оттуда бокал и бутылку с вином.

Он налил полный бокал и вручил его мне.

— Выпейте это. Вам станет легче. — Он снова сел рядом.

Я отхлебнула.

— Выпейте все.

Я выпила вино до дна и поморщилась. Он с любопытством наблюдал за мной.

— Выглядит так, будто вы никогда не пили. Как это возможно для танцовщицы в ночном клубе?

— Я приходила в клуб работать, а не пить.

Он усмехнулся, затем выдержал небольшую паузу, дожидаясь, когда я начну пьянеть, и сказал:

— Рин-сан, я намерен помочь вам. Также я хочу взять за вас полную ответственность. Теперь и всегда обсуждайте со мной, что вы собираетесь делать. Вы поняли меня?

— Да.

— Никогда не уходите никуда, не предупредив меня. Никогда не делайте ничего, что я не одобряю. Если я поблизости, всегда будьте готовы, что вы мне понадобитесь. Даже если я не позову вас. Всегда будьте рядом со мной.

— Да, я поняла.

Он придвинулся ближе и провел рукой по моим волосам.

— Теперь я — ваш единственный хозяин. Только я забочусь о вас и решаю, что вам делать. Вы принадлежите только мне. Всегда помните об этом.

Я печально молчала.

Глава 15

Прошло довольно много лет после войны. Япония справилась с послевоенным упадком и превратилась в государство, стремительно набирающее обороты.

Семья Абэ не только вернула былое благополучие, но и значительно усилила свое влияние в правительственных и промышленных кругах. Я негласно считаюсь членом этой семьи.

Как и прежде, плыть по течению — основное правило моей жизни.

Если не учитывать некоторые детали моего положения, я веду обычную скучную жизнь женщины из богатого дома — женщины, которой нечего желать.

Два раза в неделю я и Кёко играем в гольф в клубе с другими такими же праздными женщинами.

После войны я закончила университет. Я преподаю английский язык и немного занимаюсь научной работой. Мне это нравится. Но преподавание и наука — занятия из разряда хобби. Моя настоящая работа — быть любовницей Акито Абэ. По японским представлениям я считаюсь его «особым другом». Иностранцы считают меня его персональным ассистентом.

Я всячески стараюсь держаться в тени. Это непросто, потому что я выделяюсь из окружения Акито Абэ своим происхождением и своей историей. На международных приемах журналисты устраивают на меня охоту. Один раз — это было в американском посольстве на банкете для представителей бизнеса — я замешкалась, и они окружили меня со всех сторон. По-моему, в тот раз они специально сговорились устроить интервью для Акито в другом конце зала, чтобы отвлечь от меня внимание его охранников.

Я и оглянуться не успела, когда они внезапно отрезали меня от толпы гостей. Их было человек десять. Они все улыбались мне, но выглядели, как волки, загнавшие и окружившие жертву.

— Мэм, мы слышали о вашей удивительной судьбе — пожалуйста, пару слов для нью-йоркского издания! Не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Прошу, повернитесь сюда, мадам! — наперебой кричали они.

Я чуть не ослепла от слишком близких вспышек фотокамер. Это было по-настоящему страшно — пристальное корыстное внимание людей, готовых ради сенсации на любой подвох.

— Пожалуйста, не слишком долго, — говорю я, кое-как беря себя в руки.

— Это правда, что вы попали в Японию в группе беженцев во время войны?

— Да.

— А как вы оказались связаны с семьей Абэ?

— Они попросили меня позаниматься с их детьми.

— Чему вы их обучали? Языкам?

— Не только. Я должна была дать им представление о том, как живут люди в других странах.

— Вы отлично говорите по-английски и по-японски. Какими еще языками вы владеете? Вы наверняка говорите по-немецки. Пожалуйста, скажите что-нибудь по-немецки.

Я беспомощно оглядываюсь в сторону Акито. Он где-то далеко — и тоже окружен журналистами.

— …Это предприятие уже приносит плоды. В дальнейшем мы планируем увеличить свое присутствие в этом регионе, — отвечает он на чей-то вопрос.

Акито, как обычно, в числе наиболее значимых участников приема. Вокруг него постоянные вспышки фотокамер. Возможно, из-за них он совсем не замечает, что меня загнали в угол. Но его телохранители уже уяснили ситуацию и прорываются ко мне, лавируя между группами гостей.

Приближение телохранителей ободряют меня, и я начинаю нахально импровизировать:

— Моя жизнь резко изменилась из-за войны. Мне тяжело вспоминать то, чего больше нет. Я стараюсь вычеркнуть это из памяти. Прошу вас, господа, проявите понимание.

Подобные сантименты их не интересуют, но они вынуждены сделать вид, что сочувствуют.

— Вполне объяснимо. Простите, мадам… Тем не менее ответьте еще на один вопрос…

Но мои спасители уже здесь. Они окружают меня и бесцеремонно отталкивают журналистов.

— Вы можете получить информацию обо мне, сделав запрос в главный офис компании. Мне нужно идти. У меня дела, простите, — говорю я и удаляюсь, тайно торжествуя. Мне удалось их переиграть.

Потом, позднее, я видела, как они разговаривали, сбившись у барной стойки, то и дело бросая взгляды в мою сторону. Один журналист махом выпил свой виски и сказал что-то остальным, указывая на меня. Судя по их кривым ухмылкам, он высказался в самых грубых выражениях. Наверное, сказал что-то вроде: к этой сучке трудно подобраться, вот она и задирает нос, а ведь обычная шлюха, даже хуже шлюхи, ее делают неприступной только деньги ее японского любовника. Их злило, что добыча так легко ускользнула. Но они все равно не собирались сдаваться в борьбе за кусок эксклюзива.

Один из них выследил меня в университетской библиотеке. Он притворялся студентом, но, когда библиотека опустела, появился в проходе между полками, где я просматривала книги, и внезапно ослепил меня вспышкой.

— Несколько слов интервью для моего журнала, пожалуйста. О вас совершенно невозможно получить никакой конкретики. Это страшно раздражает.

Я узнала в нем одного из тех, кто устроил на меня охоту в посольстве. И даже не подумал извиниться. Наглый тип. Он улыбнулся в надежде обезоружить меня белозубой улыбкой. Челюсть была наверняка искусственная.

— Вы не имеете права использовать эту фотографию. Вы сделали ее без моего согласия, — сказала я.

— Почему вы так избегаете журналистов, госпожа Рихтер? Вам есть что скрывать? Японцы вам запрещают разговаривать с прессой?

Я механически перелистывала книги на полке.

— Абэ не спускают с вас глаз. Ходят слухи, что они дают вам инструкции, как отвечать на вопросы журналистов. Это правда?

— Вы ошибаетесь.

— Уверен, что это правда. Прошу вас, скажите, как вы можете жить жизнью другого человека?

Этот вопрос заставил меня напрячься. Если бы прессе удалось узнать мое реальное имя и каким путем я попала в Японию, это навлекло бы на Акито серьезные проблемы.

— Что вы имеете в виду?

— Как вы можете исполнять роль официальной супруги Акито Абэ, не являясь ею? Насколько комфортно вы, белая женщина, чувствуете себя в роли наложницы японца?

«Ах, только-то», — облегченно подумала я.

— Совершенно комфортно.

— Но ведь это вызов общественному мнению!

— Меня это не волнует. Общественное мнение вечно находит себе вызовы. Всего доброго. Пожалуйста, больше не фотографируйте меня.

Я схватила стопку своих книг и пошла к выходу, загораживаясь ими от его фотоаппарата.

— Постойте… подождите минуточку, мэм!..

— Не хочу.

— Прошу вас!..

Он пытался меня удержать, но я как бы случайно заехала книгами ему в лицо.

Он отстал, но упрямо крикнул мне вслед:

— Все равно достану материал!..

Мой статус в семье Абэ определился сам собой — я считаюсь здесь чем-то вроде родственницы с физическими недостатками, к которой, что бы она ни делала, надо проявлять снисхождение. Они, как умеют, стараются заботиться обо мне, и я не виню их за то, что эта забота всегда выглядит неуклюжей и поверхностной. Я знаю, что, когда они говорят обо мне между собой, они называют меня обузой, с которой приходится мириться. Только воля Акито и душевная теплота Кёко создают для меня небольшое жизненное пространство среди этих чужих людей чужого народа.

Каждое утро в одно и то же время я спускаюсь в маленькую оранжерею на первом этаже дома Абэ, чтобы полить растения, которые я там выращиваю. Для меня это вопрос принципа — поливка растений входит в ежедневный ритуал упорядоченной и размеренной рутины, призванной поддерживать иллюзорную самодостаточность моего существования.

Каждое утро я встречаю на веранде по пути в оранжерею отца Акито, патриарха клана Абэ, возвращающегося на свою половину после гимнастических упражнений. Он выполняет их строго в одно и то же время; возможно, эти упражнения для него тоже являются не меньшим вопросом принципа, чем для меня мои растения. Его всегда сопровождает старый прислужник, трясущийся от дряхлости.

Мы встречаемся с ним на повороте веранды. Я вежливо кланяюсь ему и его слуге. Он чинно и безмолвно отвечает на поклон кивком. Его трясущийся слуга кланяется чуть-чуть ниже своего хозяина. Мы расходимся. Эта сцена повторяется из года в год.

Ни один человек из клана Абэ, случайно оказавшись со мной наедине, ни разу не посчитал нужным перекинуться со мной парой слов о погоде или о чем-нибудь таком же необязательном, но необходимом для обычного человеческого общения. Не то чтобы они не любят меня — они просто не знают, как со мной обращаться. Они не готовы взять на себя труд придумывать способы общения со мной. Им проще избегнуть меня, чем перекинуться парой слов о погоде. Я привыкла довольствоваться их вежливыми поклонами в мою сторону, когда я попадаюсь им на пути. Первые годы моей жизни в Японии меня расстраивало такое отношение. Потом я привыкла к своей незначительности.

Семейный праздник. Собрание семьи вокруг патриарха. Присутствуют все члены семьи — и даже я. Я, как обычно, держусь несколько в стороне.

В определенный момент на фоне общего восхваления членов клана Абэ доходит очередь и до моих достижений.

— Рин-сан, как проходят ваши занятия со студентами? Я слышал, вас хвалят как хорошего специалиста, — благосклонно обращается ко мне патриарх.

Я жду этого вопроса и отвечаю на него, как всегда, как я обычно отвечаю на него из года в год.

— Работа мне очень нравится. Ученики очень старательные. Я очень ими довольна. В будущем году я постараюсь достичь большего, — вежливо отчитываюсь я по-японски.

Японцы слушают с одобрительным видом.

— Рин-сан очень умная. Когда я что-то не понимаю по-английски, я всегда прошу ее объяснить непонятное. Дети отлично говорят по-английски. Это заслуга Рин-сан, — с одобрительной улыбкой говорит Кёко. Кёко, как обычно, на моей стороне.

— Рин-сан всегда оправдывает возложенные на нее ожидания. Я рад, что у Рин-сан получается. Очень ценно иметь в семье собственного лингвиста, — речет патриарх Абэ.

Это его единственный любезный жест в мою сторону. Весь следующий год, до следующего семейного сбора он будет игнорировать мое присутствие, как бы часто мы ни сталкивались с ним по утрам на повороте веранды.

Прием продолжается. На другом конце зала Кёко и Акито разговаривают с кем-то из гостей. Я держусь поодаль и смотрю на них со своего места. Они выглядят как типичные японские супруги. Я близка с ними обоими, они оба — моя теперешняя семья. Но они оба по-прежнему остаются для меня тайной. Я ничего не знаю о них, не знаю, что они думают обо мне или друг о друге. Это так странно: постоянно быть так близко, но все равно оставаться словно за стеклянной стеной.

Я понятия не имею, по какой причине Акито продолжает держать меня возле себя. Он никогда не проявлял открытости или теплых чувств ко мне, как и не требовал их от меня. Мы с ним даже не разговаривали все эти годы, если не считать обмена бытовыми фразами. Мы как будто заключили взаимный договор игнорировать друг друга.

Он уже давно мог бы прогнать меня и без всяких угрызений совести отказаться от обязательств по отношению ко мне. У меня есть образование и работа, я отлично говорю по-японски — я вполне могу жить самостоятельно.

Один раз он почти прогнал меня. Это случилось после поездки в Йокогаму. Он отправился туда по делам компании, а я его сопровождала.

В йокогамской гостинице что-то напутали с нашими номерами. Управляющий гостиницы, улучив момент, когда я немного отстала в коридоре от эскорта, бросился ко мне и стал вполголоса просить, чтобы я заступилась за него перед Акито.

— Госпожа, вышло небольшое недоразумение!.. прошу понять наше положение!.. заказ номеров был оформлен нашим новым сотрудником, он допустил ошибку… — лепетал он, нелепо кланяясь на ходу.

Я недоуменно смотрела на него.

— Наш новый сотрудник решил, что вы переводчица господина Абэ… вышло так, что вы получили раздельные номера… когда об этом стало известно, было уже поздно что-то предпринимать… прошу проявить понимание!.. Прошу вас объяснить господину Абэ ситуацию…

Он страшно трусил перед Акито, но меня не боялся. Мне было и жаль его, и досадно, что он пытается сделать меня орудием для улаживания своих проблем. В то же время было

немного смешно. Надо же — он считал наши отношения с Акито настолько близкими, что воображал, будто я могу им манипулировать. На самом же деле я никогда не обращалась к нему ни с какими просьбами, за единственным исключением, когда попросила его позволить мне учиться в университете. Мое мнение для него ничего не значило. Это знали все. Никто из приближенных Акито никогда даже не пытался воздействовать на него через меня.

— Не беспокойтесь, я постараюсь все объяснить господину Абэ, — сказала я и ускорила шаг, чтобы поскорей отвязаться.

Акито заметил, что я отстала. Он и его группа ожидали меня у лифта. Пока мы поднимались на этаж, я не видела его лица. Я почему-то была уверена, что он слышал мой разговор с гостиничным управляющим. Он будто ждал, что я обращусь к нему.

— Сотрудник гостиницы по ошибке дал нам с вами отдельные номера. Надеюсь, вы не будете сердиться? Не хотелось бы, чтобы его наказали, — сказала я Акито, когда мы вышли из лифта.

Он кивнул с безразличным видом. Мне показалось, что он выглядел недовольным. Как будто хотел услышать что-то другое.

Мы разошлись по своим номерам.

После душа я пошла к Акито. Он сидел на постели в халате и расчесывал волосы. Он тоже принял душ и готовился к вечернему приему. Он сидел лицом к окну и не видел меня. Я остановилась в дверях, разглядывая его. Это был редкий шанс попытаться понять, что на уме у этого закрытого человека.

У меня никогда не было уверенности, что я довольна той ролью, которая мне отводилась в его жизни. Я никогда не могла точно знать, что думает Акито. В качестве защитной меры я старалась не давать ему понять, о чем думаю я.

Я решила, что он не видит меня. Но он заметил мой взгляд в зеркале и тоже незаметно наблюдал за мной.

— Помогите мне надеть рубашку.

Я подошла и принялась застегивать пуговицы на его рубашке. Но Акито остановил меня, взяв за руку.

— Ваш взгляд был виден в зеркале. Посмотрите на меня, как смотрели только что.

Я сразу же отвела взгляд.

— Прошу прощения. Я задумалась.

— О чем были ваши мысли?

Я молчала. Он стал стягивать с меня одежду. Я не сопротивлялась, но и не проявляла энтузиазма.

— Вы можете опоздать на прием. Скоро семь часов, — сказала я.

Акито продолжал раздевать меня.

— Вы знаете, что врач Кёко-сан советует оставить ее в больнице на два месяца? — хладнокровно спросила я. — В прошлом году она пробыла там всего один месяц. Он уже сообщил вам, что болезнь прогрессирует?

В прошлом году Кёко поставили серьезный диагноз. Она выглядела бодро и не желала признавать, что больна. Акито тоже избегал говорить о болезни жены. Они оба как сговорились. Зато я научилась использовать эту болезнь как разновидность манипуляции. Впрочем, я всегда делала это в интересах Кёко.

Акито отстранялся, взял зажигалку и сигареты с тумбочки.

— Зачем вы заговорили об этом?

— Вы не можете игнорировать эту тему.

Он вздохнул. Достал сигарету, затянулся.

— Рин-сан, там, — он кивком указал в сторону стола, — письмо для вас. Я забрал корреспонденцию из Токио, чтобы работать с ней здесь, — среди бумаг было письмо из какого-то американского фонда. Оно адресовано вам. Заберите его.

Я поспешно подошла к столу, взяла из стопки бумаг письмо. На письме был указан адрес отправителя по-английски «Надежда — Ассоциация помощи родственникам пропавших без вести во время войны». Это был ответ на мой запрос. Время от времени я возобновляла поиски своей семьи. Я знала, что это бессмысленно, но иногда срывалась и давала волю бесплодным надеждам.

Что было в том письме? Я торопливо вскрыла его, бегло прочитала. Крупным планом выделились слова: «к сожалению, нет данных», «не обнаружены в списках». Я безнадежно положила письмо на стол. Я давно привыкла к таким письмам, они не приносили ничего, кроме разочарования. Но все же мне требовалось две-три минуты, чтобы сердце успокоилось.

Акито молча курил, наблюдая за мной.

Через час я уже забыла о письме из фонда «Надежда». Среди гостей на йокогамском приеме оказался интересный американец. Он чем-то напоминал моего отца — такой же ироничный и слегка желчный, но вместе с тем галантный. Когда я смеялась над очередной его остроумной репликой, я случайно оглянулась и наткнулась на ледяной взгляд Акито с другого конца зала. Он смотрел на меня так, что я мгновенно вспомнила, что я всего лишь жалкая интернированная полуамериканка из Шанхая.

Ко мне подошел японец из окружения Акито и сказал, что его хозяин хочет со мной переговорить. Я извинилась перед собеседником и вышла.

Акито ждал в холле. Когда я подошла, он схватил меня за руку и с силой толкнул к стене. Я инстинктивно попыталась отодвинуться от него как можно дальше, но он преградил путь. Я перестала сопротивляться. Он прижал меня к стене так, будто хотел распять.

— Вы помните наш договор? Когда я рядом, смотрите только на меня, — сказал он с холодной яростью.

— Вы же сами говорили мне не смотреть на вас. Это вредит имиджу семьи.

— Я сказал не смотреть на меня. И при этом я требовал от вас смотреть на меня. Всегда. Даже если вы не можете смотреть на меня.

Я молчала, опустив голову.

Акито начал приходить в себя.

— Не стройте из себя жертву, — сказал он. — Вы — в выгодном положении.

— Кто-то же должен быть в выгодном положении. Хоть когда-нибудь. Миллионы людей находятся в невыгодном положении — пусть хотя бы мне повезет, — сказала я с импульсивным желанием надерзить.

Он снова вышел из себя и стал изо всей силы трясти меня за плечи.

— Вы говорите так, будто забыли, что принадлежите мне!

— Нет, я не забыла! — крикнула я. — Я, конечно, помню, что принадлежу вам! Пустите меня!

Он резко отпустил меня.

— Давайте вернемся в зал, — сказала я.

— Нет. Мы возвращаемся в Токио.

Перед тем как мы уехали, Акито добился, чтобы уволили гостиничного служащего, который разместил нас в разных номерах.

В Токио Акито велел мне убираться и дал сутки на то, чтобы я собрала вещи и подыскала квартиру. Я и не подумала возражать. Хотя я и была потрясена его неожиданным решением, внутреннее упрямство, которое я ощутила еще в Иокогаме, поддерживало меня. Я быстро нашла какой-то дешевый угол и сразу же переехала туда. Но моя самостоятельная жизнь закончилась уже на следующий день. Акито передумал так же неожиданно, как и затеял разрыв, и прислал своих людей, чтобы они забрали меня со съемной квартиры; и они сделали это без всяких объяснений и не спрашивая моего согласия. Я вернулась в семью Абэ. Акито вел себя так, будто ничего не случилось, и жизнь потекла обычным чередом.

Это был мой единственный конфликт с Акито за все годы. Он никогда не вспоминал о той странной ссоре, и я тоже молчала, потому что всегда, словно зеркало, отражала его поведение.

Иногда я подсчитываю, сколько лет прошло с тех пор, как я жила со своей настоящей семьей в Шанхае. И каждый раз удивляюсь, что прошло уже пять лет… семь лет… десять лет… Прошло много времени. Я освоилась в новой жизни, мне в ней комфортно. Но иногда я снова начинаю думать, что где-то в другом измерении могла бы протекать моя другая — настоящая — жизнь.

Однажды Кёко застукала меня, когда я предавалась фантомам «другой жизни». Она отчитала меня. Она сказала, что я сидела у перегородки, ведущей в сад, глядя перед собой отстраненным неподвижным взглядом. На коленяху меня была раскрытая книга. Ветер переворачивал страницы, но я не замечала этого.

Она испугалась и стала трясти меня за плечо и звать по имени. Я сразу пришла в себя и не хотела верить, что настолько забылась. Кёко уверяла, что это правда. Она выглядела такой обеспокоенной, что мне пришлось поверить.

Впоследствии она старалась одергивать и отвлекать меня, когда ей казалось, что я слишком задумалась.

— Ты же знаешь, мне тревожно, когда ты так глубоко уходишь в свои мысли. У умных людей много умных мыслей, но куда они их могут завести?.. вдруг Рин-сан похитят духи? О, что я, бедная, буду тогда делать?.. — восклицала она, изображая шутливую беззаботность.

Глава 16

Первого августа 1959 года я, одетая для выхода в город, спустилась из своей комнаты и вошла в общую гостиную, где Рю и Юки — теперь уже подростки — смотрели телевизор, лежа на полу. Мне нужно было пройти к проходу напротив, но я не смогла найти способ перебраться через пространство, занятое детьми, коробками с рисовыми шариками, книгами, игрушками.

Я остановилась и начала осторожно подвигать — точнее, отпихивать — Рю носком туфли. Рю не предпринял никаких действий в ответ на этот вызов и продолжал валяться на моем пути, хихикая и по-детски забавляясь. Я досадливо, но снисходительно поморщилась и стала отпихивать его сильней, а затем, когда усилия не принесли результатов, наклонилась и потянула за край ковра. Рю, ухмыляясь, отъехал вместе с ковром в сторону, предусмотрительно убирая с моего пути свое барахло. Хихиканье Юки перешло в звонкий смех. Я изо всех сил старалась делать серьезный вид. Вскоре этих юных японцев поглотят проблемы и условности взрослой жизни, и моя эмоциональная связь с ними, скорее всего, прервется.

Но сейчас Рю и Юки были в самом беспечном и открытом для мира возрасте.

Я пробралась по образовавшемуся пространству к выходу. В этот день был назначен очередной визит Кёко к доктору, и я должна была сопровождать ее, чтобы придать ей мужества услышать, что опять придется лечь в клинику.

Кёко уже ждала меня в машине. Наш старенький шофер открыл мне дверцу. Перед обследованием мы собирались пройтись по большим универмагам в центре. Наша поездка была замаскирована под шопинг. Кёко, болезнь которой прогрессировала, по-детски старалась отдалять каждую новую встречу с нерадостной реальностью.

Нежелание вспоминать о своей болезни развило в ней жажду как можно сильнее радоваться приятным мелочам обычной жизни. Она словно хотела напоследок любыми способами впитать в себя как можно больше счастья.

Я смотрела, как она примеряет обувь в отделе универмага. Продавцы суетились вокруг нее, подносили коробки с обувью.

Она обернулась ко мне и спросила, нравится ли мне пара туфель, которую она примеряла.

— Цвет слишком яркий, мне кажется… — сказала я с сомнением.

— У вас есть такие же туфли других цветов? — спросила Кёко у продавщицы.

— Конечно. У нас есть туфли такой же модели других цветов, их сейчас же принесут.

Продавцы снова засуетились вокруг Кёко, притаскивая все новые и новые коробки. Она примеряла обувь, то и дело прохаживалась, глядя на себя в зеркало, тормошила меня, требуя советов.

Она радовалась вниманию к себе, как ребенок. Она чем — то напоминала десятилетнюю меня, когда я во время посещения банка с отцом летним шанхайским вечером беспечно воображала, что весь мир будет всегда крутиться вокруг моей персоны.

Кёко никак не хотела уходить из универмага. Она таскала меня по всем отделам, перебирала модели, вспоминала, что нужно купить еще и то, и это. Казалось, она готова была заниматься шопингом бесконечно, лишь бы отдалить момент встречи с доктором.

Мы вышли из универмага, нагруженные пакетами. Пока шофер набивал багажник

покупками, Кёко продолжала оживленно щебетать о пустяках.

— Какой удачный выбор! Какие изящные туфли! Жду не дождусь, когда смогу выйти в них.

Потом она притихла, вспомнив о клинике и обо всем, что было с ней связано.

Автомобиль двигался по оживленным улицам. Кёко посмотрела на часы.

— Пожалуйста, поторопитесь, — сказала она шоферу, — Рин-сан должна быть в университете через полчаса.

Этот маленький трюк был придуман, чтобы отсрочить встречу с доктором еще на полчаса.

— Нет, — решительно сказала я. — Сперва — в клинику. Сперва мы отвезем Кёко-сан на осмотр к доктору.

— В университет, пожалуйста, — с улыбкой повторила она шоферу, притворившись, что не слышит моих слов.

— В клинику, пожалуйста, — твердо сказала я.

Я видела, как шофер поймал взгляд Кёко в зеркале. Кёко сдалась и сделала жест, показывающий, что она принимает мое решение.

— Вам придется забрать Кёко-сан после осмотра, — напомнила я шоферу.

— А как же Рин-сан? — забеспокоилась Кёко.

— Акито-сан заедет за мной после лекций. Он забирает меня с собой в Осаку.

— Ах, эти деловые поездки… это так утомительно… — сочувственно протянула Кёко.

Я ни разу не видела в ней признаков ревности. Двум женщинам из богатой среды обычно нечего делить, если только у них не склочный низменный характер.

Автомобиль остановился у светофора на перекрестке. Я посмотрела в окно. В кафе напротив сидели люди. Среди них я заметила посетителей с европейской внешностью. Американцы или, может, англичане. Мужчина и женщина примерно моего возраста, возможно, муж и жена. С каждым годом в Токио появлялось все больше белых иностранцев.

— Тебе не кажется, что в Токио стало много иностранцев? — спросила я Кёко.

Что делать иностранцам в Японии? Иностранец здесь всегда чувствует на себе любопытные взгляды, как животное в зоопарке. Отличаться от всех вокруг — судьба иностранца. Но я не просто иностранка. Я еще и зависла где-то в прошлом.

Я на минуту представила, что было бы, если бы я оказалась рядом с этими белыми. Мне нечего было бы им сказать, ни о чем не хотелось бы их спросить. Никаких точек соприкосновения. Мы с ними только внешне похожи, но происходили из непересекающихся отрезков истории. Я ничего бы не почувствовала, кроме вежливого равнодушия, к которому, может быть, примешалось немного легкой зависти — из-за того, что они хоть и иностранцы, но происходят из какого-то реально существующего мира, а мир, из которого происходила я, исчез навсегда под пеплом мировой войны. Но эта зависть была бы малозначимой, незаметной — ведь какое мне, в сущности, дело до их мира, если он не был моим?

— …и мы везде будем слышать «хелло» и «хау ду ю ду, мистер»? — дошел до меня обрывок из речи Кёко. Она так смешно пародировала американский выговор, что я рассмеялась.

Я уловила в ее взгляде сочувствие. Она хотела растормошить меня, потому что посчитала, что я опять «излишне задумалась».

Когда Кёко вышла из автомобиля у клиники, я сказала ей на прощание несколько малозначащих подбадривающих слов.

— Жаль, что не могу пойти с тобой, — сказала я. — Я позвоню доктору после занятий. Шофер вернется забрать тебя. Удачи.

Она помахала мне с широкой улыбкой и крикнула по-английски «bye-bye».

Вечером я уехала с Акито в Осаку на несколько дней. Туда из Токио пришло сообщение, что Кёко оставили в клинике на неопределенное время.

Вернувшись в Токио, я обнаружила в холле коробку с туфлями, купленными Кёко перед тем, как ее положили в клинику. Вид этой сиротливо лежащей коробки почему-то заставил меня испытать беспокойство. Было ясно, что ее привез шофер и отдал служанке вместе с другими пакетами — но почему служанка не отнесла коробку сразу в комнату Кёко, а небрежно поставила в угол в холле?

Я навестила Кёко в клинике. Она выглядела бодрой и оживленной. Она много болтала и расспрашивала меня об Осаке. Доктор сказал, что хотел бы провести еще один, более тщательный осмотр и через неделю ее отпустят. Эти новости и бодрое настроение Кёко подействовали на меня успокаивающе. Я вернулась домой в умиротворенном настроении.

Войдя в холл, я снова наткнулась взглядом на коробку с туфлями и снова почувствовала прилив раздражения, переходящего в беспокойство. Я схватила коробку и пошла через длинный боковой проход к комнате Кёко с намерением оставить ее там где-нибудь в шкафу.

Какой-то шум в небольшом анклаве у поворота привлек мое внимание. Мне показалось, что я слышу тихие голоса. Откуда-то потянуло сигаретным дымом. Я остановилась, осмотрелась, затем осторожно, крадучись, подошла к анклаву и резко отдернула закрывавшую его занавесь.

Рю и Юки сидели на корточках за колонной и курили. Я застигла их врасплох. Они вскочили при моем появлении. Юки испуганно вскрикнула. Я дала Рю пощечину и вырвала у него сигарету.

— Если бы ты курил сам — ладно, я бы еще промолчала. Но зачем втягивать в это Юки? — крикнула я. — Боюсь, ты доигрался! Сегодня же вечером Акито-сан все узнает!

Я снова дала ему несколько полновесных пощечин. Рю не сопротивлялся, только пытался прикрыть лицо и ныл:

— Ай, Рин-сан!.. ай! больно!.. пожалуйста!.. простите, Рин-сан!.. простите!

Юки прыгала рядом и хватала меня за руки.

— Рин-сан! Рин-сан! не надо, пожалуйста, не надо! — умоляла она. — Не бейте его! Не говорите отцу!

Расправу прервала неожиданно появившаяся служанка.

— Мадам, вас просят к телефону.

Я еще пару раз для острастки шлепнула по голове Рю и пошла за служанкой в столовую, где находился телефон. Я была уверена, что звонили из университета относительно расписания моих лекций.

Но звонили не из университета. Приветливый женский голос в трубке сказал по-английски:

— Добрый день, мэм. Вас беспокоят из американского посольства. Это по поводу мисс Ирэн Коул. Пожалуйста, скажите, могли бы вы встретиться с представителем посольства по этому вопросу?

На меня словно вылили ведро холодной воды. Ирэн Коул — это ведь я. Кто-то зачем-то вытащил мое настоящее имя из забвения и только что произнес его в телефонной трубке.

— Да, мне интересна эта информация, — наконец сказала я немного изменившимся голосом.

Появились Рю и Юки. Они держались на расстоянии, маячили передо мной беспрерывно кланяясь с молитвенно сложенными руками — безмолвно умоляя не говорить отцу о своей провинности. Я смотрела на них отсутствующим взглядом.

— О'кей. Удобно ли было бы вам приехать в посольство на встречу с нашим сотрудником завтра часов в двенадцать? Если нет, то укажите удобные для вас дату и время.

— Завтра в двенадцать часов вполне подходит.

— Тогда ждем вас завтра, мэм. В двенадцать часов.

Я положила трубку и обернулась. Рю и Юки продолжали стоять поодаль с просительно сложенными руками и с жалостливыми выражениями. Я не сразу вспомнила, что им от меня нужно.

— Ах да — сигареты… Я не скажу Акито-сан.

На следующий день я была в посольстве на встрече с неким Даймоном Стерлингом. Я немного его знала: он время от времени мелькал на тех же приемах, где бывала я. Он прекрасно знал японский, был интересным собеседником, умел заводить самые разные связи и негласно считался посредником американцев с японскими деловыми кругами. Поговаривали, что он занимался вербовкой агентов для американских спецслужб и не чурался шантажа и прочих грязных трюков.

Стерлинг встретил меня радушно и начал разговор издалека. Он заявил, что рад снова меня видеть, сделал несколько комплиментов и упомянул вскользь наших общих знакомых. Пока он разглагольствовал, я наблюдала за ним. Он выглядел, как доктор, нарочито бодрящийся, чтобы поддержать бодрость духа в пациенте, которому он собирается объявить страшный диагноз.

Перебрав несколько тем для светской болтовни, он наконец сделал паузу, давая понять, что пора перейти к серьезному разговору.

— Мы с вами давно знакомы, миссис Рихтер, но должен признаться, что вопрос, из-за которого мы с вами сегодня встречаемся, мне легче было бы обсуждать с неизвестным мне человеком, — начал он. — Заранее прошу меня простить за то, что я вынужден вторгаться в личные пределы, мэм. Суть дела такова: хотя вы и не японка, вы косвенно принадлежите к влиятельной японской семье и являетесь довольно значимой фигурой в нашем маленьком токийском мирке. Относительно вас появились сведения, которые вынуждают американскую сторону принять какую-то внятную позицию. Вам тоже, думаю, интересно будет с ними ознакомиться.

— О каких сведениях вы говорите? — спросила я.

— Вот, взгляните. — Он взял со стола журнал, открыл и показал мне. — После выхода этой статьи к нам поступила информация сразу из нескольких источников.

Я взяла журнал. Там была статья обо мне. Я сразу узнала свою фотографию, сделанную в Кобэ в сорок третьем году.

— Эта фотография попалась на глаза одной француженке русского происхождения, Вере Лоран. По какой-то причине она решила, что вы — ее подруга Ирина Коул, американка с русскими корнями, пропавшая без вести в японских лагерях во время войны где-то под Шанхаем. Мадам Лоран задействовала знакомства своего влиятельного мужа и связалась с нами по дипломатическому ведомству.

Стерлинг замолчал и выжидательно посмотрел на меня. Я молчала.

— Мадам Лоран проявила удивительную активность, — продолжал он. — Она разыскала родственников Ирины Коул в Америке и оповестила их о своей «находке». В результате у нас появился также запрос от юриста семьи Ирины Коул. На данный момент из всех ее родственников живы две сестры Ирины. Одна живет в Нью-Йорке, другая — в Техасе.

Он вдруг прервал сам себя и встревоженно спросил:

— Что с вами? Вам плохо? Вы сильно побледнели.

— Нет-нет, — сказала я, — все хорошо. Иногда я страдаю от приступов удушья. Небольшой астматический синдром. Нельзя ли открыть окно?

Он суматошно бросился распахивать окна, а затем принес стакан минеральной воды.

— Раз вы неважно себя чувствуете, не следует ли нам перенести этот разговор? — спросил он.

— Мистер Стерлинг, я ценю ваши усилия, потраченные на расследование этого сугубо частного дела, — сказала я, — пожалуйста, продолжайте.

— О'кей. Ирэн Коул по трагической случайности была разделена с семьей и не успела эвакуироваться из Шанхая в декабре сорок первого. Она считалась пропавшей без вести.

— А ее семья? Что произошло с семьей? — жадно спросила я. — Ее семья должна была плыть на корабле «Розалинда», который был потоплен…

— Да, совершенно верно. «Розалинда» погибла. Но не в первый переход. Она успела сделать несколько благополучных рейсов. Богатые беженцы из Китая были прибыльным бизнесом во время стихийной эвакуации в первые дни войны. Вашим родственникам удалось добраться до Австралии. Вы ведь и есть Ирина Коул, не так ли? Японцы зовут вас Рин. Ирина — созвучно с Рин.

— Я Эмилия Рихтер.

Он вздохнул.

— Мы стараемся поддерживать благоприятный климат в общении с влиятельными японскими кланами, но есть вещи, которые нельзя оставлять просто так. Я понимаю причины, заставляющие других скрывать вашу историю, но я не совсем понимаю ваши причины. Считается, вы вошли в дом Абэ как учительница, приглашенная для детей. На самом деле произошла совсем другая история.

Он пристально посмотрел на меня. Он рассчитывал, что сможет найти ко мне правильный подход и ему удастся мной управлять.

— На самом деле во время войны некий привилегированный японский офицер вывез в Японию под чужим именем маленькую американку, живую игрушку… которая до сих пор живет в его доме в качестве его личной пленной…

Он, несомненно, хотел с моей помощью получить возможность шантажировать клан Абэ.

— Мистер Стерлинг, вы, как и я, долго живете в Японии, — сказала я. — Когда долго живешь в чужом мире, координаты меняются, вы же знаете. Это бесполезный разговор. Вы придаете слишком много значения незначительным вещам. Я попала в Японию по доброй воле. Это было просто стечение обстоятельств. Это была договоренность.

— Договоренность? — Он усмехнулся и покачал головой. — Нет. Договоренность может считаться договоренностью между обычным мужчиной и обычной женщиной, но не между офицером и пленницей. Мисс Коул, ваша судьба вызывает горячее сочувствие. Мы поможем вам восстановить имя и гражданство. Вы живете в плену на чужой земле, в разлуке

с родными. Если вы будете сотрудничать с нами, мы сделаем так, чтобы вы вернулись к нормальной жизни и забыли свое ужасное прошлое. Мы сделаем так, чтобы Абэ выплатили вам огромную компенсацию. Вы станете богатой и независимой.

— Иногда даже участники событий не могут дать точную оценку своих действий. Тем более тяжело судить со стороны. Если сделать акцент на какой-то одной детали, то остальные будут выглядеть искаженными. Вы ведь, как и я, давно живете на Востоке, мистер Стерлинг. Вы знаете, что здесь учат смотреть на жизнь как на иллюзию, за которой скрывается следующая иллюзия.

— Иллюзия — это ваше представление о вашем положении. Вы принимаете иллюзию за реальность, потому что ваше сознание находится под воздействием сильной психологической травмы. Вас насильно держат в плену, мисс Коул. Даже если вы не понимаете этого, даже если вы отрицаете это — в глазах общества вы запуганная и беззащитная жертва, поверьте мне.

— Я не пленница. Более того, я не Ирэн Коул. Я Эмилия Рихтер. Я буду все отрицать. От японцев вы тоже ничего не добьетесь.

Разговор прервался. Он помолчал, прикидывая что-то в уме, потом вдруг широко улыбнулся.

— Я ожидал, что вы скажете что-то в этом роде, миссис Рихтер. Крепкий вы орешек. Вы мне всегда были симпатичны. Разумеется, без вашего согласия мы ничего не станем предпринимать против Абэ. Я вам не враг. Ваша судьба на редкость драматична, она напоминает мне древнюю легенду. Пожалуйста, возьмите. — Он взял со стола бумаги и передал их мне. — Здесь сведения о вашей семье, включая адреса и номера телефонов. Ваша мать вышла замуж сразу после войны. Она взяла фамилию мужа — именно поэтому вы не могли найти ваших родных.

Я схватила бумаги и встала из-за стола.

— Благодарю вас, мистер Стерлинг… Благодарю за ваше участие в этом деле. Однако мне пора идти. Не хочу больше отнимать ваше время этой историей.

Он понимающе кивнул.

— Всего доброго, мэм. Рад был с вами повидаться. Надеюсь, что был вам полезен, — сказал он, провожая меня до дверей.

Хоть о нем и ходили слухи, все же он умел сохранить лицо.

Я долго не решалась прочитать бумаги, которые он мне дал. Они лежали на моем столе несколько дней. Я подходила к столу, брала их в руки и клала обратно. Когда я привыкла к мысли, что все это не сон, я позвонила сперва Вере в Париж, а потом сестрам в Америку. Было так странно слышать их голоса. У них у всех были те же голоса юных девушек начала сороковых годов. Именно из-за этих звонких ахающих и изумленных голосов у меня возникло впечатление, что никто из них не изменился.

Перед тем как улететь в Америку на встречу с сестрами, я зашла в клинику попрощаться с Кёко. В коридоре я столкнулась с Акито. Он выходил из палаты Кёко, как раз когда я собиралась туда войти. Мы всегда проведывали Кёко поодиночке, словно приняв как данность, что относимся к несовместимым сферам ее жизни.

Ни он, ни я не ожидали увидеть здесь друг друга. Я остановилась перед ним. Он тоже остановился, стараясь не встречаться со мной взглядом. Накануне я сообщила ему, что улетаю в Америку. Он ничего не сказал, но я не могла не почувствовать исходившее от него тяжелое мрачное настроение, похожее на неодобрение, к которому примешивалось что-то

еще.

— Как она? Вы уже говорили с доктором? Что он сказал? — спросила я, чтобы сбить ощущение неловкости от этой встречи.

— Прогнозы не слишком благоприятные, — сдержанно ответил он. — Мне нужно идти. Поговорим позже.

Он повернулся, чтобы уйти.

— Акито-сан! — окликнула я его.

Акито остановился и, не оборачиваясь, стал ждать, что я скажу.

— Если случится что-то непредвиденное, пожалуйста, сразу же позвоните или сообщите телеграммой.

Акито кивнул и направился к выходу. Я посмотрела ему вслед и открыла дверь в палату.

Увидев, что я вхожу, Кёко приподнялась с постели, заулыбалась и помахала мне рукой.

— Ах, я так рада, что ты пришла!

Ее приветственный жест вышел вялым. Я заметила, что любые движения стали даваться ей немного тяжелее.

Я взяла стул и села у ее изголовья.

— Ты видела Акито? — поинтересовалась она. — Он только что ушел.

— Да, мы встретились в коридоре, — сказала я, — он занят, не захотел со мной разговаривать. Он разозлился, когда я сказала, что лечу в Америку.

— Не обращай внимания на Акито. Он всегда такой, ты же знаешь. Я так рада, что ты сможешь увидеть свою семью!

Ну не чудо ли это — найти тех, кого считаешь погибшими много лет?! Обещай, что расскажешь обо всем, когда вернешься.

Я стала невпопад заверять ее, что вернусь очень скоро, самое большее — через неделю. Я чувствовала перед ней из-за своего отъезда ту же неловкость, что и перед Акито.

— Когда я вернусь, то попрошу поставить в палату еще одну кровать и буду жить здесь вместе с тобой, — пообещала я.

— Нет, напротив, ты должна остаться в Америке подольше. Ведь вы так давно не виделись — вам нужно много-много времени, чтобы рассказать друг другу о том, что у вас случилось в жизни за эти годы.

Мы еще немного поговорили о разных незначительных вещах, о новостях из дому, о диссертации, над которой я работала. Я отдала ей книги, которые она просила принести. Из больницы я сразу поехала в аэропорт и улетела рейсом Токио — Сан-Франциско.

Я в самом деле не собиралась задерживаться в Америке надолго. Доктор сказал, что у Кёко в запасе еще есть пара месяцев. Но все равно я не могла отделаться от смутного чувства вины, когда покидала Японию.

Глава 17

Анна и Лидия встретили меня в нью-йоркском аэропорту. Я увидела их первая - они стояли недалеко от входа — и сразу их узнала, потому что Лидия стала очень похожа на мать. Мне даже показалось на долю секунды, что это и есть моя мама, приехавшая меня встречать.

Я окликнула их. Они встрепенулись, бросились ко мне и снова остановились в замешательстве, не зная точно, как следует родственникам выражать свои чувства после долгих лет разлуки.

Первой пришла в себя Лидия. Она подскочила и чмокнула меня в щеку.

— О господи! Ирина! Живая Ирина! Ах, боже, ты стала такой элегантной! Анна посмотри, какой изысканной дамой она стала! — затараторила она по-русски.

Анна подошла и неловко поцеловала меня.

— Здравствуй, дорогая, — немного натужно сказала она. Даже не верится… Подумать только!.. Столько лет и вот!.. Ты прекрасно выглядишь.

Это было невероятно — снова увидеть их. Мы вглядывались друг в друга с изумлением. Это было словно чудо, которое настолько потрясает, что не знаешь, в рамках каких ценностей его следует рассматривать. Я запомнила их совсем юными, а теперь это были зрелые женщины, с довольно большим грузом жизненного опыта и с какими-то неизвестными мне взглядами и привычками. И, соответственно, я не знала, как нужно себя теперь с ними вести.

— Что же это мы тут стоим? Пойдемте, Фил ждет снаружи, — сказала Лидия.

Фил, муж Лидии, ожидал нас на парковочной стоянке аэропорта. Он безмятежно читал газету, прислонившись к автомобилю.

Лидия весело представила нас друг другу.

— Это Фил, мой муж. Фил, вот моя маленькая давно пропавшая сестричка.

Я заметила, что она подражает американскому выговору и старательно прячет свой русский акцент.

- Приветствую, мэм, сказал Фил. — Рад познакомиться. Как там в Японии?

- Здравствуйте, Фил. В Японии все прекрасно.

- Поехали скорей домой. Ирина, садись сюда. Фил, поставь ее вещи в багажник. Анна, ты — сюда, — командовала Лидия.

Я заняла заднее сиденье рядом с Анной. Автомобиль выехал со стоянки.

Лидия жила в небольшом городке недалеко от Нью-Йорка. Всего около часа езды, сказала она и стала рассказывать о своем доме. Они с Филом, перебивая друг друга, подробно описывали, как выбирали и покупали этот дом, как отделывали его, как изменились цены на недвижимость с тех пор, — скучные подробности, которые, тем не менее, помогали мне справиться с ощущением неловкости, возникшим из-за того, что я никак не могла освоиться с физическим присутствием людей, которых много лет считала умершими.

- Наш дом, наверное, покажется тебе скромным; он не такой, к каким ты привыкла в Японии, — предположила Лидия.

— Почему ты так считаешь? — удивилась я.

Лидия слегка стушевалась.

- Я подумала… Видишь ли, ты одета в такую дорогую одежду, что мне показалось, что… что ты привыкла к более высокому уровню жизни, — объяснила она.

- Я ведь приехала не для того, чтобы посмотреть на дом, — сказала я.

Она совсем не изменилась, думала я. Это была самая характерная черта Лидии с раннего детства: первым делом обращать внимание на то, богат ли кто-нибудь или беден, и выносить суждения о людях, основываясь на их предполагаемом «уровне жизни». В свое время это ее качество раздражало меня, но сейчас оно показалось мне даже трогательным, словно удалось найти еще один кусочек разорванной в клочья фотографии и приклеить на свое место.

Анна тоже, кажется, совсем не изменилась. Не замечая небольшой неловкой заминки в разговоре, она тут же заполнила паузу деловитым сравнением стоимости своего дома в Нью-Джерси и недвижимости Лидии. Прагматичная сторона вещей всегда интересовала Анну больше всего остального.

Мы наконец приехали. Дом Лидии оказался стандартным американским домом из пригорода. Но он поразил — почти потряс — меня самим фактом своего наличия, он показался возникшим передо мной из ничего, из пустоты или, точнее, из чужой реальности, как, впрочем, и все другие люди и предметы, связанные с моей семьей, которая по всем законам природы не должна была существовать, но, как выяснилось, существовала и, более того, жила обычной человеческой жизнью, обрастала неизвестной мне историей, детьми, недвижимостью, друзьями, соседями, фотографиями и сплетнями. Это было очень странно, потому что в этой жизни на том месте, где должна была быть я, находился прочерк, пробел. Я много лет считала, что моя семья больше не существует, но теперь я начала убеждаться, что на самом деле это я не существовала для всех них. Это было очень болезненное осознание.

— Я давно говорила тебе сменить обои, Лидия. Этот цвет не подходит для гостиной, — заметила Анна, когда мы вошли в дом.

— Ах, оставь… — отмахнулась от нее Лидия и обратилась ко мне: — Сейчас ты увидишь своих племянников!.. Где же дети? Эй, ну где вы там? Выйдите, пусть тетя посмотрит на вас.

Дети Лидии — десятилетняя Лиззи и пятнадцатилетний Макс — вышли познакомиться со мной.

Лиззи выглядела надутой равнодушной девочкой. Макс держался немного дружелюбнее.

— Здравствуйте, мэм, — промямлил он.

Лидия обняла Лиззи и потрепала по макушке Макса. Видно было, что она гордилась ими.

— Лиззи — в честь бабушки. А как тебе Макс? Правда, копия Александра?

— Да, — согласилась я. — А Лиззи чем-то похожа на Анну.

— Жаль, что ты не можешь взглянуть на мою Ольгу, — вмешалась Анна. — У них с Лиззи разница в два года. По виду как близнецы.

— Она все увидит — у нас здесь куча фотографий! — сказала Лидия. — Ирина, пойдем, я покажу твою комнату. Надеюсь, тебе понравится.

Племянники показались мне плохо воспитанными, своевольными, бесцеремонными детьми, такими же, какими были мы, дети семьи Коул, в свое время. Они разглядывали меня с равнодушным любопытством; для них я была небольшим аттракционом, давно забытой

всеми и ничего не значащей родственницей, о которой, если вдруг случайно попадется ее старая фотография в альбоме, говорят, что это «та самая тетя, которая пропала во время войны; помните, я когда-то рассказывала о ней?». Я раздала им подарки из Японии — они приняли их с небрежным снисхождением, так, как мы когда-то принимали подарки «китаёзы». Утолив свой мимолетный интерес ко мне, они сразу ретировались. Мне показалось, что для наблюдавших эту встречу Анны и Лидии это тоже был аттракцион, подпитывающий в них слезливые эмоции, как сцена из умилительного кинофильма. Встреча с племянниками добавила легкую ноту горечи в мое сердце.

Вечером я, Анна и Лидия рассматривали старые фотографии. Лидия принесла груду альбомов и коробок в гостиную; к ним также добавились фотографии, которые Анна привезла из Нью-Джерси.

Я снова увидела маму, Александра, господина Евразийца… Еще до приезда в Америку я узнала, что мать вышла замуж за «господина Евразийца» сразу после войны и прожила с ним до самой его смерти пять лет назад. Господин Евразиец оказался порядочным и надежным человеком; только благодаря его помощи моя семья не пропала в военные годы и мои сестры и брат смогли встать на ноги.

Фотографий было так много, что мы переместились с дивана на ковер, и Лидия стала раскладывать передо мной снимки длинными рядами, давая к каждому из них краткие пояснения. Это чем-то напоминало инструктаж по истории семьи.

— Как странно смотреть на фото людей, которых я никогда не знала. Я совсем не представляю, как вы жили все это время, — сказала я, беспомощно откладывая фотографию какой-то неизвестной мне «лучшей подруги».

— Ах, мы столько испытали из-за войны! Мы все потеряли. Мы бедствовали — война, чужая страна, чужие люди, — это было ужасно! — воскликнула Анна.

— Если бы не китаёза, даже не знаю, как бы все обернулось, — заметила Лидия. — Мы бы просто пропали.

— Тот переезд был кошмарен! — продолжала Анна. — Сколько мы пережили из-за тебя! Когда выяснилось, что ты потерялась, мы все чуть не сошли с ума.

Внутри у меня похолодело. Я не была готова услышать эту историю. Анна со своей обычной бесцеремонностью застала меня врасплох.

— Ах боже мой, Анна, оставь, — сказала Лидия. — Зачем вспоминать сейчас такие ужасы? Давайте поговорим о чем-нибудь более приятном.

— Нет, я хочу, чтобы она знала, как мы из-за нее переживали! — заявила Анна.

Взбалмошность всегда была ее самой выразительной чертой в юности — и никуда не делась и в среднем возрасте. Она во что бы то ни стало хотела рассказать, что происходило тогда на «Розалинде».

— Сперва мы думали, что ты просто задержалась — не можешь найти документы или еще что-нибудь. Мать ужасно разозлилась и ругала тебя на чем свет стоит: «Опять с этой беспомощной дурочкой что-то случилось!» А потом я догадалась заглянуть в саквояж — а там лежат твои документы, представляешь! Я положила их вместе со своими. Когда мать увидела твой паспорт, у нее началась истерика. Она хотела сойти с корабля, чтобы забрать тебя, но ей, естественно, не дали этого сделать, да и бесполезно это было. Она вела себя как безумная, она дико кричала, била меня и всех, кто пытался ее удерживать, а потом упала и билась головой о палубу! Она несколько часов подряд кричала, что ты американка и у тебя есть документы. Это невозможно было слушать!

— Это было ужасно, но это все давно прошло, — мягко сказала Лидия.

— Да, это все давно прошло, — с трудом повторила я, не давая волне холодной боли завладеть собой.

В комнату вошла Лиззи с куклой в руках.

— А вот и моя лапочка! Иди скорей ко мне, моя сладкая! — заворковала Анна, раскрывая объятия навстречу племяннице. — Ну совсем как моя Ольга! Ах, как жаль, что здесь нет моей Ольги!

Анна тут же стала совать мне в руки фотографии своей дочери, требуя, чтобы я непременно отметила сходство девочек. Она даже не подозревала о мертвящем холоде душевной боли, которую я испытывала из-за этого душераздирающего рассказа.

— Папа просил узнать, где вторая барбекюшница, — сообщила Лиззи. — Он считает, что одной недостаточно.

— Ах, да, я совсем забыла — завтра мы устраиваем семейный праздник по случаю твоего возвращения! — объявила мне Лидия. — Мы позвали самых близких друзей. Тебе будет интересно с ними познакомиться.

— Разве мы не собирались завтра ехать на кладбище? — удивилась я.

— Видишь ли, Фил собирается уезжать в Нью-Арк по делам, — сказала Лидия. — На кладбище мы вполне можем съездить и без него, а вот устроить без него пикник будет затруднительно.

Сообщение о пикнике дало мне повод закончить мучительный сеанс воспоминаний. Я сказала, что в таком случае хотела бы пораньше лечь спать, и поскорей ушла в свою комнату.

Позднее, проходя мимо гостиной в кухню, чтобы разбавить водой снотворное, я услышала, как Анна и Лидия о чем-то озабоченно переговариваются за полуоткрытой дверью.

— …Может, поговорить с ней об этом сейчас? — произнес голос Анны.

— Нет-нет, лучше отложить, — твердо сказала Лидия.

— Интересно, как она воспримет… Думаешь, будут проблемы?..

Я подумала, что они говорят не обо мне, и выбросила этот эпизод из головы.

Глава 18

На следующий день был пикник с барбекю на участке перед домом. Прием в честь моего возвращения, как выразилась Лидия. Этот прием был не нужен мне, но, видимо, важен для Лидии и Анны, как часть какого-то неписаного свода «приличий», поэтому я, подавив в себе некоторое внутреннее сопротивление, готовилась выступить в роли свадебного генерала, надеясь, что гости окажутся достаточно деликатными и не будут слишком сильно донимать меня бестактными вопросами о моей жизни.

Первая половина дня прошла в подготовке пикника; во второй половине стали приезжать гости. Большинство из них были соседями из пригорода, которые были хорошо знакомы друг с другом. Некоторые привезли с собой детей. Сразу стало очень шумно.

В начале приема Лидия без конца представляла меня прибывающим гостям. Если у нее появлялась свободная минута, она описывала мне и Анне кого-нибудь из собравшегося общества с целью помочь нам сориентироваться, кто есть кто.

Все эти истории очень интересовали Анну, но меня утомляли. Эта толпа жизнерадостных обывателей словно ставила заслон между мной и сестрами.

Я предчувствовала, что предстоит выдержать натиск любопытства этой жадной до сплетен компании и пыталась найти какой — нибудь способ усложнить им возможность устроить мне допрос.

Лидия представила меня последним гостям — Оливии и Дэвиду, — супружеской паре, жившей по соседству. Они и поставили крест на моих надеждах незаметно дотянуть до окончания пикника.

— Я слышала вашу удивительную историю. Лидия мне ее рассказала. Мы очень близки с вашей сестрой, она мне все всегда рассказывает, — заявила Оливия, широко улыбаясь. — Я не представляла, что такое возможно. Это чудо! Мы видели вас на фото. Кто бы мог подумать, что вы появитесь, да еще из Японии! Я думала, вы будете в кимоно.

— Кимоно? Я редко надеваю кимоно.

— Я мечтаю поехать в Японию и купить кимоно! Это так экзотично! — сообщила Оливия.

— Ради бога, Оливия! Что ты мелешь! Ты приехала, чтобы поговорить о кимоно? — вмешалась Лидия.

Оливия и Дэвид засмеялись.

— Кстати, вы уже обсуждали тот вопрос о наследстве? — обратился ко мне Дэвид.

— Какой вопрос о наследстве? — удивилась я.

— Дэвид, не порть праздник!.. — напряженно сказала Лидия. — Вон мой муж — он давно ждет тебя, чтобы поговорить о политике. Оливия, попробуй профинтили — в тот раз они тебе понравились. Анна, Ирэн, почему бы вам тоже не попробовать?

Лидия потащила всех к закускам.

Потом наступил черед барбекю и других обычных развлечений. Я разговорилась с пожилыми супругами, русскими, приехавшими в Америку, как и наша семья из Шанхая. Они держались в стороне от шумливых американцев, и я нашла в их лице неплохую компанию на некоторое время. Вскоре русского старичка сманил разговор о контрреволюционном заговоре на Кубе, который бурно обсуждала неподалеку мужская часть общества. Его супруга вспомнила, что оставила в автомобиле таблетки, которые всегда принимает после еды, и

тоже отлучилась.

— Ну куда же ты пропала? — ворчливо сказала нашедшая меня Лидия. — Я тебя обыскалась. Вот шаль, возьми, становится холодно. Пойдем-ка, сейчас будет фейерверк, здесь ты ничего не увидишь, я тебя посажу поближе.

Я пошла следом. Тут как из-под земли перед нами возникла Оливия.

— Ах вот вы где! Наконец я вас нашла! — воскликнула она, широко улыбаясь мне хищной улыбкой опытной охотницы за сплетнями. — Я ужасно хочу с вами поговорить, Ирэн, ужасно! Как вам у нас в пригороде? Удобное место, не правда ли? Вам понравилась Америка? Вы первый раз в Америке?

— Не приставай к ней, Оливия! Она уже была в Америке несколько раз, — сказала Лидия.

— О, в самом деле? — У Оливии округлились глаза.

— Правда, только в крупных городах, — призналась я.

— Где же вы еще здесь побывали? — спросил подошедший муж Оливии.

— В основном в Нью-Йорке и в Чикаго. Там находятся филиалы нашей фирмы.

— Вы занимаетесь бизнесом? — удивился Дэвид.

— Я имела в виду японскую семью, с которой связана. У них есть филиал в Нью-Йорке.

Вокруг нас стали собираться другие гости.

— А как вы попали в Японию? — поинтересовалась кумушка, которую, кажется, звали Фанни.

— Я приехала туда по документам беженки, — ответила я в замешательстве.

— Но ведь у вас было американское гражданство. Разве Япония принимала беженцев с американским гражданством? — спросил Дэвид.

— Это были поддельные документы на чужое имя.

— Откуда вы их достали? — продолжал допытываться Дэвид. — Вы ведь, кажется, были в лагере для интернированных? Как вам удалось попасть из лагеря в Японию?

— У меня был знакомый японец, который вывез меня из концлагеря.

— А почему этот японец принимал в вас участие? — жадно спросила Оливия. — Вы ему нравились? Вы были его девушкой?

Я почувствовала, что начинает кружиться голова от непристойного стадного любопытства собравшихся вокруг меня мещан.

— Мы встретились в ночном клубе, где я была танцовщицей.

— Ах, вот как… — протянул Дэвид.

Оливия и Фанни стали шушукаться.

Лидия выглядела недовольной. Она попыталась сменить направление беседы.

— Мы давно потеряли надежду, что Ирэн найдется, как вдруг позвонила какая-то женщина из Парижа. Кстати, кто она?

— Вера Ивицкая. Она тоже была танцовщицей. Она мой друг. Мы вместе выживали в те годы в Шанхае.

— Не могу представить, чтобы наша Ирэн танцевала в клубе! Она была такой тихой робкой девочкой, — сказала Анна.

— У тебя будет много времени, чтоб расспросить ее об этом, — оборвала ее Лидия. — А сейчас пойдемте смотреть фейерверк. Фил и Макс неделю к нему готовились. Вы же не хотите, чтобы их усилия пропали даром?

— О, мои дети обожают фейерверки! — воскликнула Оливия. — Смотрите-смотрите,

вон там уже первая ракета! Какая прелесть!

Муж и сын Лидии запускали ракеты. Обычный любительский фейерверк. Дети радостно вопили каждый раз, когда над нами рассыпался фонтан искусственных звезд. Я куталась в шаль и тоже смотрела на яркие брызги в темном небе. Я привыкла ощущать себя чужаком, но у меня все же была иллюзия, что где-то есть место, где я буду своей. И я начинала понимать, что такого места нет. Я была словно ненужным осколком прошлой жизни. Моя тайная безумная надежда на то, что я могу вернуться в ту семью, которая исчезла на «Розалинде» много лет назад, таяла так же быстро, как вспышки фейерверка.

Поздно вечером, когда гости разъехались, мы все, перед тем как уйти спать, сделали несколько первых попыток сгладить беспорядок, оставшийся от гостей. Пока мы таскали в дом с участка складные стулья и приспособления для барбекю, подвыпившая Лидия донимала всех вопросами, все ли, на наш взгляд, прошло гладко на ее приеме.

— Да успокойся ты уже! — воскликнула потерявшая терпение Анна. — Вечер был что надо, все прошло как по маслу. Дай нам наконец покой. Принеси мне второе одеяло и иди уже спать.

— Ах, нет!.. мне кажется, эта Оливия опять будет распускать какие-то сплетни! Зачем только я ее пригласила!.. Но не пригласить было нельзя, она бы стала моим смертельным врагом!.. — не унималась Лидия.

«Ее беспокоит, какое мнение составила Оливия обо мне, ее сестре?» — задалась я вопросом, но посчитала нужным промолчать.

— Ах, какой трудный день… — вздыхая, повторяла Лидия. — Но, кажется, все прошло хорошо. Дэн, ты забрал мангал со двора?

— Ничего с ним не сделается до завтра, — откликнулся Дэн. — Чертовски устал. Вы как хотите, а я иду спать. Спокойной ночи, леди.

— Ирэн, дорогая, ложись поскорей, завтра мы поедем на кладбище, навестим маму, — сказала Лидия.

— Давненько я там не была, — заметила Анна. — Лидия, дай мне еще одеяло, сегодня прохладно.

Все разошлись спать.

Встреча с Оливией была в некотором смысле полезна для меня. После шквала вопросов о моей жизни со стороны праздной сплетницы я не могла не обратить внимания на тот факт, что ни Лидия, ни Анна так и не сделали попытки толком поинтересоваться, как я жила все прошлые годы.

На следующий день мы посетили кладбище, где были похоронены мама и Александр.

Вид надгробия матери потряс меня. В нем прочитывался символизм того же ряда, который просматривался во внезапно возникшем в моей реальности доме Лидии. Если в моих прежних фантазиях мать каким-то образом продолжала смутно существовать для меня, то плита на ее могиле сразу резко очертила ее уход в вечность, стала материализованным символом ее смерти. На этой могиле словно читалось слово «никогда»: никогда уже мне не стать частью ее жизни.

Я подошла к могиле и присела на корточки, читая надпись. Лидия присела рядом, положила букет.

— Она никогда не верила, что ты погибла. Ей хотелось тебя дождаться. Но после несчастного случая на рыбалке, когда погиб Александр, у нее случилось два инфаркта… Все очень быстро закончилось.

— Ей надо было подождать всего два года, всего два года — и мы бы встретились… — сквозь слезы пробормотала я.

— Все это время она просила у тебя прощения. Она говорила, что должна была подняться на корабль самой последней, после того как проследит, что никого не оставили.

Я провела рукой по плите.

Мы с матерью разминулись всего на два года. До этого наша встреча была возможной. Осознание этого было таким острым, что мне показалось, будто я потеряла ее еще раз.

Подошла Анна.

— Кажется, будет дождь, — сказала она, поглядывая на облака. — Думаю, стоит поторопиться. Ужасно боюсь грозы.

Гроза все-таки настигла нас по дороге домой. Анна испуганно вскрикивала при каждом раскате грома. Лидия хладнокровно вела автомобиль.

— Будь добра, веди осторожней, — сказала ей Анна. — Я вся трясусь, когда ты за рулем.

— Что за глупости! Я отлично вожу, — ответила Лидия и обратилась ко мне: — Ирэн, ты умеешь водить машину?

— Да. Но я редко это делаю. У нас есть шофер.

Их это впечатлило.

— У тебя есть собственный шофер? — удивленно переспросила Анна.

— У той семьи, где я живу.

— Это семья того самого японца, который вывез тебя из лагеря? — спросила Лидия.

— Да.

— А… какие у тебя отношения с ним?.. — осторожно поинтересовалась Лидия.

— Я учила его детей. Теперь я менеджер в его компании.

— Понятно… — протянула Лидия.

В разговоре возникла напряженная пауза. Сестры явно укреплялись в определенных подозрениях насчет моего положения. По их поведению я видела, что следует воздержаться от рассказов о своих реальных отношениях с семьей Абэ. Это был еще один печальный знак отчуждения.

— Что ж, хорошо, что ты нашлась… — сказала Лидия. — Между прочим, наш юрист собирается поговорить с тобой. Знаешь, ведь ты наследница части состояния отчима…

— В самом деле? — удивилась я.

— Ах, это долгая история! — сказала Анна. — Все благодаря мамочке. У нее был талант спасать положение с помощью брака. После смерти китаёзы ей досталось все его имущество. И потом, уже после первого инфаркта, мама ни за что не соглашалась вычеркнуть тебя из списка своих наследников. Она считала, что ты жива.

— В ее завещании есть условие, что твоя часть наследства переходит к тебе, если ты найдешься через пять лет после ее смерти. Прошло только два года…

— Как странно… Вместо наследства я бы хотела увидеть маму живой.

Это было похоже на дурную пьесу. Я надеялась вернуться в свою семью — вместо этого мне сообщили о каком-то наследстве.

— Ну, завтра наш юрист все тебе сообщит подробнее, — вздохнув, сказала Лидия.

Когда мы вернулись домой, нас встретил Макс.

— Какой-то человек звонил из Японии, — объявил он.

— Из Японии? Он говорил по-японски? — удивилась Анна.

— Нет, по-английски. Это было срочное сообщение. Он просил передать, что какая-то женщина очень больна или умирает — что-то в этом роде. Имя я забыл.

— Кёко! Это Кёко! — воскликнула я. — Ах, как все неудачно! Придется срочно возвращаться. Я должна поменять билет. Лидия, где у тебя телефонный справочник? Мне нужно подобрать ближайший рейс.

— Что ты так разволновалась? — сказала Лидия. — Ты собираешься возвращаться в Японию? Анна, ты слышишь? Она собирается уехать!

— Нет, ты не можешь! Завтра приедет юрист, ты должна уладить вопрос с наследством! Япония никуда не денется! — воскликнула Анна.

— Это можно сделать и потом, — возразила я. — Лидия, дай мне, пожалуйста, телефонный справочник.

После долгих переговоров с авиагентством для меня наконец нашелся билет на самолет, вылетающий на следующий день. Уладив этот вопрос, я ушла в свою комнату собирать вещи.

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнула я, пытаясь сладить с застежками чемодана.

Вошли Лидия и Анна. Лидия присела на край кровати, Анна встала рядом с ней.

— Дорогая, разве нельзя отложить? — вкрадчивым тоном спросила Лидия. — Завтра приедет юрист, мы должны разобрать дела с наследством.

— Это нужно всем нам! — воскликнула Анна.

— Невозможно. Простите. Этот человек очень важен для меня. Лидия, пожалуйста, дай будильник — мне нужно рано встать.

Я продолжала возиться с застежками, и до меня не сразу дошло, что в комнате застыла какая-то напряженная тишина. Я резко подняла голову и увидела, что сестры переглядывались, делая друг другу какие-то знаки; между ними происходил какой-то непонятный мне немой диалог.

— Дорогая, послушай, мы все-таки хотели бы знать, что ты думаешь насчет наследства? Разве ты считаешь, что можешь принять эти деньги? — вкрадчиво спросила Лидия.

— Но ведь мне их завещала мама, — удивленно возразила я.

Это безобидное, как мне казалось, замечание мгновенно вывело их из равновесия. Лицо Лидии помрачнело, Анна и вовсе выглядела взбешенной.

Их настроение поменялось мгновенно. Я оторопела.

— Эти деньги достались матери от отчима, — снова повторила Лидия. — Ты ведь даже толком не знала его.

— Когда выяснилось, что у него рак, мы выхаживали его, мы носились с ним до последнего вздоха! — слезливым тоном ввернула Анна.

— Ирина, ты не представляешь, как трудно мы жили, — продолжала Лидия. — Мы очень нуждались. Формально деньги по завещанию твои, но разве ты можешь на них претендовать?

— Но ведь именно мама хотела, чтобы я получила их, разве нет? Ведь я тоже ее дочь.

Это соображение еще больше их разозлило.

— О, я прямо из себя выхожу! — выкрикнула Анна. — Да разве ты имеешь право на эти деньги?! Не ты, а я и Лидия сидели с матерью, когда она умирала! Все тяготы и расходы были на нас! А ты все это время жила легкой и удобной жизнью! Ты даже пальцем не шевельнула, чтобы тебе эти деньги достались по праву!

— Анна, что ты говоришь? — Я была в шоке. — Я же тоже часть семьи. И на мою долю

тоже выпало…

— Да какие у тебя могли быть беды! Ты сама сказала, что танцевала в ночном клубе! Ты зарабатывала на мужской похоти, а теперь ты содержанка какого-то богатого япошки! Да уж, хорошо устроилась! — запальчиво поддержала Анна.

Это был запрещенный удар.

— Как ты можешь такое говорить?! Я должна была выживать совсем одна! Я-я голодала, я была в лагере!.. Вы хоть понимаете, что такое жизнь в лагере?! — от возмущения я растеряла даже самые очевидные аргументы.

— Ничего, такие, как ты, не пропадают! — сварливо заявила Анна. — Вспомни-ка, как ты оттуда выбралась! Мы догадываемся, чем ты заработала освобождение! Лидия, она совсем бесстыжая! Теперь она объявилась как ни в чем не бывало и хочет заграбастать то, что ей не принадлежит!

— О боже!.. пожалуйста, уйдите. Уйдите обе. Я не могу с вами больше говорить, — сказала я.

— Пойдем, Анна, — сказала Лидия, молча наблюдавшая за нашей перепалкой и что-то там себе кумекавшая. — Разговоры ни к чему. Не волнуйся. Мы потребуем аннулировать завещание.

Она встала, обняла Анну за плечи и повела ее к двери. На ходу она повернула голову и бросила мне:

— Лучше бы ты действительно пропала.

Дверь за ними закрылась. Некоторое время я, опустошенная, сидела, а потом снова принялась собирать вещи.

Если бы я сказала им, что не собираюсь получать это наследство, так как из-за него пришлось бы менять имя и подвергать риску репутацию семьи Абэ, этого разговора могло бы не случиться. Но, пожалуй, я должна быть рада, что он произошел, поскольку он все расставил на свои места.

Я покинула дом рано утром. Ни Анна, ни Лидия не вышли попрощаться. Утро было превосходное. Вчерашняя гроза сделала воздух свежее. Дорожные сумки оттягивали мне руки, но я подумала, что эта тяжесть не идет ни в какое сравнение с тяжестью того тюка с вещами, который я когда-то давно тащила в замерзших руках от пристани к нашему дому во Французской концессии. И как бы ни было тяжело у меня на сердце после освобождения от застарелых иллюзий, это можно было пережить. Да, это определенно можно было пережить.

Есть хорошая сторона в движении времени. Я живу в более раскованном и открытом мире, где Макс и Рю, возможно, встретятся когда-нибудь на равных, без груза комплексов и страхов моего поколения. Жаль только, что моя юность не пришлась на это время.

Глава 19

Шофер открыл заднюю дверцу. Я села в автомобиль. Шофер занял свое место. Акито, сидевший на переднем сиденье, не повернул головы при моем появлении. — Перелет был не слишком тяжелым? — сдержанно спросил он.

— Нет, все прошло благополучно.

— Очень хорошо.

Автомобиль выехал со стоянки.

Я ждала, когда Акито заговорит, но пауза затянулась.

— Как себя чувствует Кёко? Я хотела бы повидаться с ней, — сказала я.

— Мы едем сейчас в больницу, — кратко ответил Акито. — Я высажу вас там.

Автомобиль остановился у больницы. Перед тем как выйти, я спросила у Акито почти с вызовом:

— Разве вы не собираетесь тоже зайти к Кёко?

— Она не желает видеть никого, кроме вас, — ответил он, по-прежнему не оборачиваясь.

Я помедлила, потом молча захлопнула дверь. Автомобиль отъехал.

Когда я вошла в палату, медсестра делала Кёко инъекцию. Кёко морщилась от боли, но, увидев меня, тут же заулыбалась и сделала резкое движение мне навстречу.

— А, ты уже вернулась! Я так рада!

— Осторожней, пожалуйста, — сказала медсестра.

За эти несколько дней Кёко сильно изменилась. Я с болью в душе отметила, что болезнь стремительно прогрессирует и конец близок.

Я села рядом с постелью и взяла руку Кёко.

— Я вернулась и хочу поухаживать за тобой. Говорят, Кёко-сан никого не хочет видеть?

Улыбка Кёко погасла.

— Они мне мешают. Они слишком шумные. Пожалуйста, не будем говорить о них. Лучше расскажи, как прошла поездка.

— Не сейчас. Я должна привести мысли в порядок.

Кёко улыбалась, вглядываясь в меня, слабо пожимала мою руку.

— Ты изменилась после Америки.

— Америка всегда поражает меня. Это невозможная страна… — сказала я первое, что пришло в голову, пытаясь изобразить оживление.

Но Кёко трудно было обмануть.

— Встреча с родными оказалась не такой, как ожидалось? — спросила она, помолчав.

— У них своя жизнь, в которой мне трудно разобраться. Меня больше волнует твое состояние, — ответила я и обратилась к медсестре: — Пожалуйста, распорядитесь, чтобы вторую койку передвинули поближе.

— Хорошо, — сказала та, поклонилась и вышла.

Я переехала в палату Кёко и жила там, почти не выходя, до самой ее смерти, заменив ей всю ее семью, которую она наотрез отказывалась видеть, не желая, чтобы ее угасание провоцировало печальные впечатления у близких.

В последние дни она почти все время спала, а если просыпалась, то большей частью находилась в забытьи.

Однажды ночью она проснулась. Я читала, сидя у ее изголовья, и вдруг заметила, что она лежит с открытыми глазами и наблюдает за мной.

— Кёко-сан проснулась… — сказала я, кладя книгу на тумбочку. — Хочешь чего-нибудь? Может, включить радио? Тебе же нравится джаз.

Кёко помотала головой и попыталась сесть на постели. Она выглядела чуть бодрее, чем обычно. Это был последний всплеск ее жизненной энергии.

— Помоги мне…

Я помогла ей приподняться, а сама села у изголовья и по обыкновению взяла ее за руку.

— Скоро нужно принять лекарство, — сказала я, взглядывая на часы. — Был Акито-сан, но ты спала, он не хотел тебя будить. Он приедет завтра утром.

— Попроси его не приезжать. Я не хочу, чтобы он видел, какой я стала.

— Кёко-сан всегда безупречна.

Она печально усмехнулась.

— Нет-нет… Я не хочу никого видеть. Пожалуйста, попроси, чтобы никто не приходил.

— Они все равно будут приходить, даже если ты им запретишь. Если ты не позволишь им войти, они будут стоять у дверей. Пожалуйста, не надо быть жестокой к людям, которые беспокоятся о тебе.

Кёко молча смотрела на меня. Я поменяла тему разговора.

— По крайней мере, я рада, что капризная Кёко согласилась терпеть мое присутствие.

— Рин-сан — добрая. — Она снова печально усмехнулась. — Я всегда смотрела на тебя и думала: какой счастливой я могла бы быть на ее месте… Но Рин-сан не выглядела счастливой. У нее была другая мечта, и она видела только свою мечту — смотрела куда-то вдаль, сквозь других людей. Мне было так грустно на нее смотреть… И было так стыдно за себя — Рин-сан занимала то место, которое надеялась занять я, но Рин-сан не нуждалась в нем.

У меня сдавило в горле.

— Кёко-сан — такая добрая…

Она вглядывалась в мое лицо.

— Рин-сан была добра ко мне. Если бы ты пожелала, ты могла разрушить мою жизнь. Разве ты не знала этого?

— Нет-нет, — твердо сказала я. — И думать не хочу. Не надо говорить о разных глупостях.

Я встала, взяла с тумбочки стакан и пузырек.

— Давай-ка примем лекарство.

Она безропотно выпила таблетки.

— Помнишь — тогда, когда ты только приехала к нам, ты тоже лежала также, как я, совсем без сил? — тихо спросила она.

— Я вела себя очень глупо, — сказала я.

— Мы думали, что ты умрешь. Доктор сказал, что ты устала и у тебя не осталось внутренних резервов. Я считала, что это неправильно. Разве есть причина умирать такой молодой девушке? Один раз служанка не выдержала и сказала, что не станет больше входить к тебе. У этой иностранки взгляд, как у мертвой, сказала она. Она показала мне еду, к которой ты не прикасалась. Я поняла, что надо что-то сделать, а то ты в самом деле умрешь. Я позвала Юки и сказала ей, что за дверями лежит больная тетя, которая хочет есть, но не может есть. Я спросила Юки, хочет ли она пойти и покормить больную тетю, чтобы та

выздоровела. И тогда Юки сказала: да, Юки хочет, чтобы тетя была здоровой, Юки отнесет больной тете еду и попросит ее поесть. Я забрала миску у служанки, отдала Юки и отправила ее к тебе. И ей удалось заставить тебя жить…

Кёко рассказывала эту историю тихим угасающим голосом. Пока я боролась со спазмами в горле и придумывала какой-нибудь бодрый ответ, она опять впала в забытье.

Я не была связана никакими родственными связями с Кёко, но все же наши с ней отношения напоминали отношения близких родственниц. Я понимала, что она уже попрощалась со своей семьей. Быть с ней в ее последние минуты, поддержать в ней ощущение присутствия человеческого тепла рядом с ее умирающим телом — единственное, что я могла для нее сделать, чтобы показать, что эта родственная связь существует между нами. И она была так великодушна, что дала мне эту возможность.

Я сидела у постели умирающей Кёко и вспоминала всех людей, которые отнеслись ко мне так, будто были моей настоящей семьей: китаец, который дал мне половину лепешки во время моего бездомного скитания по Шанхаю, Вера, сующая мне деньги, когда меня забирали в лагерь, стойкая Джейн Фокс, до конца опекавшая всех слабых и беззащитных, всегда стоящая на моей стороне Кёко…

Через два дня Кёко умерла.

Глава 20

После ухода Кёко у меня надолго пропало чувство равновесия жизни. Ее смерть подействовала на меня намного более удручающе, чем неудачная поездка к сестрам. Я перестала ощущать себя в безопасности. Начала мучить тайная мысль, что на меня скоро может обрушиться какое-то несчастье и не найдется никого, кто бы меня спас или защитил.

Однажды вечером — прошло уже месяца три после смерти Кёко — Акито забрал меня после лекций в университете.

Машину вел шофер. Акито сидел не рядом с ним, как обычно, а на заднем сиденье. Он возвращался с деловой встречи и выглядел усталым. Я заметила, что он начинает стареть. Он, видимо, тоже наблюдал за мной.

— У вас усталый и отрешенный вид, — заметил он.

— Я действительно немного устаю в последнее время, — согласилась я.

— Я тоже утомился от этих бесконечных совещаний. Думаю, нам стоит заехать в какой-нибудь бар и немного расслабиться.

Не потрудившись ответить, я сделала неопределенный жест, выражающий «как пожелаете».

— Поезжайте в Гинзу, — сказал Акито шоферу.

В баре был уютный полусумрак. Играла спокойная джазовая музыка. «Кёко любила джаз», — вспомнила я.

— Что вы будете пить? — спросил Акито.

— То же, что и вы.

— Два виски, — сказал он бармену.

Бармен налил нам виски.

Акито сделал глоток и испытующе взглянул на меня.

— Как прошла поездка в Америку?

— Неплохо, благодарю.

Он достал сигарету, закурил.

— Какие у вас планы? Что вы собираетесь делать в будущем?

— Пока не знаю… — задумчиво сказала я. — Может, съезжу во Францию навестить подругу… ту, которая узнала меня на фото…

— Та русская, которая была вашей партнершей в «Космополитене»? Вера Ивицкая.

Я удивленно посмотрела на него. Он усмехнулся.

— Видите, я многое о вас знаю.

Мы снова замолчали.

Я взяла свою рюмку и залпом выпила. Виски спровоцировало у меня неожиданный всплеск эмоций — слезы полились потоком. Я вытирала ладонями лицо, даже не пытаясь сдерживать себя.

— Почему вы плачете?

— Не знаю… Наверное, потому что я полный банкрот. Глупо терять близких людей, не правда ли? Такое ощущение, будто весь мир снова рухнул и лежит в развалинах.

Он вздохнул.

— Я ведь вам тоже довольно близкий человек. Или вы никогда не признаете этого?

Я молчала.

— Хотите, я расскажу вам историю об одном человеке, который много лет любил одну женщину? — сказал он. — Она жила рядом с ним, но на самом деле она жила в каком-то другом мире, не замечая его.

— Может, вы только потому и любили ту женщину, что ее словно бы не было рядом.

Акито допил свою порцию виски.

— Послушайте, Рин… Давайте поговорим о нас. Выживете в Японии по собственной воле, не так ли?

— Да. Разумеется.

— Обдумывая наши отношения, я пришел к выводу, что определенное принуждение все-таки имело место. И все эти годы вы закрывались этим фактом, как щитом.

— Зачем вы это говорите?

— Затем, что вы оказались не так уж беззащитны. Вы пытались кланяться мне, когда мы с вами встретились в лагере. Вы демонстрировали мне свою зависимость, потому что понимали, что находитесь в условиях зависимости. Но на самом деле и вы, и я знаем, что внешние обстоятельства, вынуждающие человека занимать униженное, бесправное положение перед другим человеком, совершенно ничего не значат. Как бы ни был унижен человек, он все равно осознает, что это просто роль, которую ему предписано играть. Он остается свободным в душе, и, когда обстоятельства переменятся, он и в самом деле станет свободным. И точно так же человек, обладающий внешним превосходством над другим человеком, понимает, что в реальности он не обладает никакой властью — он только использует обстоятельства, дающие ему власть над другими. Только самые глупые люди не понимают этого расклада и упиваются внешними признаками власти или, наоборот, при ее отсутствии излишне страдают от ощущения своей униженности. Меня тогда привлекло именно это ваше качество: вы были уверены, что остаетесь свободной, вы продолжали оставаться беспечно свободной, хотя и выглядели внешне крайне жалко. Я не знаю, понимали вы это или нет, но это выглядело словно вызов — и я не мог его не принять.

— Вы приписываете мне качества, которых нет. Я всегда была такой. С самого детства. В нашей семье все всегда помыкали мной, как самым бесправным существом. Вы ошиблись во мне.

— Нет, я не ошибся. Это значит, что вы всегда, с самого рождения ощущали себя свободной и вам было абсолютно безразлично, помыкают вами или нет. Я успел узнать вас достаточно хорошо. Я наблюдал за вами — вы ни разу не проявили качеств по-настоящему униженного человека. Вы были зависимы от меня, но ни разу не показали, что страдаете от этой зависимости. Формально вы признавали свою зависимость, но в действительности вам просто было все равно. Если бы вы лишились моего покровительства, вас бы это ничуть не тронуло, вы бы очень быстро приспособились и стали существовать в каких-то других условиях. Меня всегда поражала ваша невероятная приспособляемость. Что бы с вами ни случилось, вы как-то умудряетесь на обломках любой катастрофы тут же создать свой собственный независимый мирок, в котором прячетесь от всех несчастий. У меня никогда не получалось вышибить из вас это проклятое раздражающее безразличие к вашему собственному положению. Скажите, как такие люди, как вы, умудряются существовать?

Я не нашлась что ответить.

— Если бы понадобилось, я бы вас запер. Но тут вы использовали другую технику сопротивления. Вы были так верны памяти о своей семье, что это не могло не вызывать уважения — и вместе с тем возмущения. Потому что это был ваш способ выразить протест.

Это давало вам возможность отгородиться от мира. Но теперь вы нашли свою семью. И я хочу узнать — вы стали счастливей?

— Вы смеетесь надо мной? — возмущенно спросила я.

— Нет. Просто теперь наконец появился шанс, что наши

отношения нормализуются. Вы встретились со своей семьей. Но вы вряд ли стали счастливей. Теперь вам некуда прятаться от меня.

Мы смотрели друг другу в глаза. Это было почти такое же противостояние, о котором мы говорили при первой встрече в лагере.

— Уже довольно поздно, — сказал Акито мягко. — Пожалуй, нам пора возвращаться в Токио.

— Да, конечно, да, — поспешно сказала я.

Он встал. Я тоже поднялась.

— Расскажите, как прошла встреча с родными? — спросил он, когда мы были уже в автомобиле.

— Все очень изменились. Больше всего меня удивил племянник. Он так похож на моего брата — но он совсем другой. И он даже не догадывается, что напоминает мне совсем другую жизнь. Глядя на него, я не могла не думать, что мир опять сильно изменился.

— Да. Есть большое утешение в том, что мир все время меняется. Равновесие в мире так или иначе восстанавливается.

— Вы правы, — сказала я.

Автомобиль остановился на том перекрестке, где когда-то мы с Кёко наблюдали за белыми посетителями в кафе.

Я повернула голову и посмотрела в большое — на всю стену — стеклянное окно. На этот раз там не было белых туристов, но поведение сидящей за столиками японской молодежи очень напоминало западную раскованность.

Я подумала, что Япония очень изменилась после войны. Японцы никогда не будут такими, как прежде. Возможно, из-за того, что они стали больше потреблять. Возможно, это пойдет на пользу их цивилизации.

Ко мне постепенно возвращалось ощущение общего равновесия жизни.

Больше книг на сайте - Knigolub.net